СССР

КАК ЖИЛИ • КАК ЛЮБИЛИ • КАК ВЕРИЛИ В СЕБЯ

Дневник детской памяти

Это и моя война

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Дневник детской памяти» – сборник писем и воспоминаний наших современников, которые в годы Великой Отечественной войны были детьми. Среди тех, кто поделился своими переживаниями и горестями военных лет, – Евгений Леонов, Эдита Пьеха, Валерий Золотухин, Валентина Леонтьева и многие другие.

- Дневник детской памяти. Это и моя война
  -
  - Предисловие
  - Спасёныши
  -
  - Это и моя война
  - Из письма Юлии Сперанской (Селивановой) (г. Нижний Новгород)
  - Виртудес Компань Мартинес, редактор, переводчик
  - Петр Обыденный, ученый-биолог
  - Валентина Леонтьева, народная артистка СССР
  - Виктор Гехт, радиоинженер
  - Элина Быстрицкая, народная артистка СССР
  - Из письма З. С. Кузнецовой (г. Тула)
  - Евгений Леонов, народный артист СССР
  - Надежда Иванова, слесарь-инструментальщик
  - Афанасий Мунхалов, народный художник России и Республики Саха (Якутия)
  - Белла Рудых, педагог
  - Горюнова Елена, библиотекарь
  - Юрий Фролов, капитан 1-го ранга в запасе, Северный флот
  - Раиса Алымова, архивариус
  - Владимир Летучий, поэт-переводчик
  - Эдита Пьеха, народная артистка СССР
  - Кристина Ольхова (Ксения Зенкевич), музыкант, педагог
  - Из письма Натальи Новиковой[11] (г. Рига)
  - Наталья Абрамова, редактор, сценарист
  - Валерий Золотухин, народный артист России
  - Нина Лагутина (Хомякова), штукатур-строитель
  - Павел Петров (Фернандо Кейрос), художник-аниматор
  - Ярмила Горватова, детская медсестра
  - Из письма Тамары Тетериной (г. Москва)

- Виктор Шевченко, ученый-биофизик
- Лиана Черепанова, кинорежиссер-документалист
- Петр Штарк, летчик гражданской авиации
- Александра Чечета (Дубова), доктор экономических наук
- Людмила Петрушевская, прозаик, драматург
- Из письма Людмилы Лукьяновой (г. Улан-Удэ)
- Борис Ротенфельд, журналист
- Римма Егорова (Исаева), преподаватель
- Илья Белеванцев, военный летчик 1-го класса, капитан
- Дина Левина. Из семейного архива журналиста Матвея Ганапольского. Воспоминания матери
- Из письма Татьяны Невской (г. Иваново)
- Иван Николаев, токарь-универсал
- Анна Чеченкова (Постникова), водитель трамвая
- Александр Тимофеевский, поэт, сценарист
- Лариса Ланкина, журналист
- Герта Портнягина, художник
- Послесловие от автора
- Послесловие
- Дневник детской памяти собирала Лариса Машир

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19

Дневник детской памяти. Это и моя война

© ООО «Издательство АСТ», 2014

* * *

Предисловие

Это только на первый взгляд кажется, что в книге сорок историй. На самом деле история одна и герой один – ребенок на войне. И не так важно, как далеко он от линии фронта, он все равно – на войне. Потому что война – это катастрофа одна на всех, и жизнь по законам военного времени, одна на всех!

Поколение детей войны – «уходящая натура», ее последние свидетели. Тем ценнее для потомков эти страницы памяти, страницы непрерывности жизни. И, по сути, память детей – главный герой этого Дневника! Мы всегда между прошлым и будущим. Родителей сегодняшних старшеклассников воспитывали дети войны, а сами родители стали свидетелями смены эпохи… История всегда близко, всегда рядом. Мы сами ее участники. Знать прошлое и наше право, и наша гражданская обязанность.

Эти сорок голосов, бережно собранных журналистом Ларисой Машир, только капля в море детских бед и слез. Кто-то должен время от времени говорить миру, как чудовищна война, которая сводит ценность жизни к нулю. Сорок мальчиков и девочек, переживших войну, берут слово. Сорок наших современников, соавторов коллективного документа «Это и моя война», реализовали свое право на память. Видимо, пришло их время!

Слышащий да услышит!

Спасёныши
Вместо предисловия

Лека Аннинский

Один из них, переживший оккупацию, сказал страшную вещь:

«Если вы, взрослые, решите начать войну, поубивайте сначала всех детей… потому что после нее невозможно остаться нормальным человеком».

Эти слова драматурга Александра Гельмана приводит Лариса Машир, журналист, собиравший не один год «Дневник детской памяти. Это и моя война».

Доля детей войны действительно страшная. Даже на фоне правды о войне, которую успели завещать взрослые. Эта их писанная кровью правда унаследована. И еще есть какая-то своя правда, которая улавливается именно из детских уст – из воспоминаний детей войны – тех, что уцелели в страшные военные годы.

И постарев, они пытаются понять, почему все это случилось с людьми, и как выдержать мысль о том, что **это** с людьми случилось.

Мое поколение наконец-то решилось на мемуары. До него высказывались фронтовики, и боязно было опережать их в воспоминаниях. Теперь фронтовики уходят, их почти не осталось. Уходят уже и мои сверстники, им под 80. И вот собраны воспоминания их детских лет, совпавших с военным временем.

Тексты бесхитростные и страшные. Сорок исповедей. Авторы – ученые и художники, журналисты и кинорежиссеры, медики и педагоги… Водитель трамвая, штукатур, летчик, библиотекарь…

Да как же они сумели доучиться и получить законченное образование, если в военные, да и первые послевоенные годы со школьной скамьи целые выпуски мобилизовывались на военное производство и восстановительные работы?

Доучились все-таки! Уже после Победы! Хотя и сохранили горькое ощущение непоправимости того, что сделала с ними война.

«Ну, какие мы участники Победы! – исповедуется одна из них. – Мы были просто заложники войны!» Но все-таки поздравляет всех! Потому что участники! Участники Победы! Хотя поначалу и неприметные по малолетству.

Среди них особенно заметны фигуры артистов, заслуживших всенародную известность: Элина Быстрицкая, Эдита Пьеха, Валентина Леонтьева, Евгений Леонов, Валерий Золотухин… Меньше, вернее, почти нет – поэтов и писателей. Может, оттого, что литераторы успели высказаться раньше и полнее тех, кто выкарабкивался к высшему образованию через фабрично-заводские училища и колхозные звенья. О войне с пронзительной силой написали поэты поколения «шестидесятников»: Соколов, Рождественский, Евтушенко… Прозаики Владимов, Аксенов…

Но тут-то и сказывается авторский замысел Ларисы Машир: сквозь позднейший литературный блеск разглядеть первоначальный опыт – ранящий именно в первоначальной непосредственности. Трагедию Бабьего Яра Анатолий Кузнецов описал уже в зрелости, – после чего благоразумно удалился в эмиграцию, – а здесь воспроизводится первоначальная запись Анатолия – 12-летнего киевлянина, увидевшего, как гонят евреев в овраг, услышавшего их крик: «Это смерть!»

«В телеге – немецкий солдат с кнутом. Другой солдат, с ружьем подмышкой, ведет из ворот бледного мальчишку…»

Того мальчишку уже не вернуть. Завален миллионами тел: жертв, палачей, солдат, партизан, карателей…

А за линией фронта в тылу: «Вши глодали голодных. Тлел туберкулез. Но беганье босиком по талому снегу вплоть до нового снега закаляло тогдашних детей – или убивало». Это уже другой ребенок войны – драматург Людмила Петрушевская.

И совсем дальний тыл. Якутский художник Афанасий Мунхалов: «Здесь как в блокадном Ленинграде – люди не могли хоронить людей…»

Социальный, географический, национальный диапазон книги

обширен и многообразен. Россия от западных рубежей до Сибирских окраин. Оккупированные районы страны. Оккупированные районы Польши, Чехии… Евреи, украинцы, русские. Испанцы, спасенные от гражданской войны в Пиренеях и угодившие в нашу Отечественную. Немцы…

Испанцев я хорошо узнал по годам студенческой юности и молодости. Мы дружили. Немцам я читал лекции позднее, в Высшей комсомольской школе. От контактов в военное время бог спас.

Некоторые мемуаристы полагают, что немцы, кстати сказать, не издевались над жителями захваченных территорий, не бесчинствовали без смысла. Зато приказания исполняли пунктуально. Отлавливали ребятишек во время еврейских облав и казней (это была у них программа). Отступая, жгли деревни (тоже программа: чтобы наступающие русские не нашли крыши над головой). Попавший же в плен немец добрел: с благодарностью подкармливался из рук наших жалостных вдов и сам делился, выказывая любовь к нашим мальчишкам, вооруженным рогатками. Немец есть немец…

В общем невыносима гремучая смесь ненависти и жалости, встающая из воспоминаний тогдашних детей войны.

«В садик я больше не пошла, а с 6 лет начала зарабатывать себе на обед – помогала соседям управиться с ребятишками, помыть посуду, что-то принести, и меня за это кормили…»

В садик – ладно, а в школу нельзя не пойти, потому что школа – это не только классные занятия («чернила делаем из шелухи черных семечек и заливаем прямо в отверстия на партах, куда чернильницы ставят, но чернильниц-непроливаек нет»), это еще и трудфронт («начинается сенокос, мы с взрослыми ночью копним, скирдуем граблями»…). Где фронт, где тыл?

А урожаи где? Их нет, потому что поля вытоптаны скотом: скот массово перегоняют на восток, чтобы не достался немцам…

В городах школьные здания частью отданы под госпитали (и тут уж не уследишь, кто кого подкармливает: раненые учеников или ученики раненых).

Война – всюду, это всеобщее состояние, из которого нельзя выйти и которое нельзя подделать.

Два-три штриха – чтобы нынешний читатель попробовал вжиться в ситуацию: она не так-то легко укладывается в привычные гуманные нормы, а в военное время укладывается только в линию прицела.

Беженка с ребенком на руках – спасается от германского нашествия. Эшелон разбомбили – идет пешком, сотни верст по донской степи, на восток, к Волге.

Ее обгоняет наша отступающая пехота. Иногда спрашивают:

– Как сына зовут?

– Фридрих, два года.

– Немец, что ли?

Не столько тогдашним встречным, сколько им, нынешним читателям, она объясняет, что сына назвали в честь Фридриха Энгельса.

Хорошо объяснить состояние души именем одного из великих основоположников марксизма. Но надо же представить себе состояние душ, – когда от волжского города, названного в честь того самого основоположника, снаряжают в ссылку граждан Республики Немцев Поволжья.

Пятилетний немчик Петер Штарк (в будущем – летчик советской гражданской авиации) вспоминает:

«Я видел свою маму в последний раз. До сих пор слышу этот страшный плач женщин, когда их отправляли. Они бились в истерике, их усаживали на телеги, а они спрыгивали к детям, их снова усаживали и тогда уже привязывали. А вокруг телеги народ толпится, провожает, успокаивает… Мучительные воспоминания. Так я остался один…»

Картина, в которой нет ни одного штриха кровью. Но что должно твориться в душах женщин, которых привязывают к телегам? А в душах тех, кто их привязывает?

Лека Аннинский с отцом

Еще картинка – уже не из поволжско-сибирской, а из московской реальности 1941 года. Паника 15 октября, многократно описанная историками. Добавлю штрих, и опять не кровью, а… солью.

«Москва вся бежала, бежала, а потом резко обезлюдела. В эти дни открыты были двери уже пустых магазинов, люди вынесли все что смогли. Мы с бабушкой пришли в соседний магазин, там уже никого и ничего не было, а под ногами была рассыпанная грязная соль, ее затоптали. И бабушка стала ее собирать. Дома она ее промыла и просушила. И все повторяла – «Война, детка моя, война, немец на пороге». Это наше соленое богатство потом пригодилось – мы стали всем давать соль, а нам за это давали что-нибудь покушать».

И опять: что должно откладываться в душах людей, получающих от судьбы такое спасительное богатство – смешанную с грязью соль из-под ног!

Последний штрих. И снова не кровью. Электричеством. Немецкие власти нашли способ сортировки детей в лагере Аушвиц… он же польский Освенцим:

«Как детей отбирали для работы? Если дотянулся росточком до провода, то зажигается лампочка, и значит годишься для работы. А если лампочка не зажглась, значит мал – в газовую камеру».

Окаянный Двадцатый век… Поставил же человечество лицом к лицу с этой самоубийственной жутью!

Лев АННИНСКИЙ,

сын старшего политрука

Александра Ивановича Иванова-Аннинского,

добровольца 1941, погибшего в 1942

Детям войны посвящается

Это и моя война
Неполное собрание детских воспоминаний

Лариса Машир

Как-то само собой, помимо моей воли возникло это название. Но внутренний голос меня тут же одернул: какое ты имеешь право говорить «моя война»? И все же верх взяла мысль – имею!

Ну, во-первых, на перекрестках журналистской судьбы случались такие встречи, когда мои герои словно спотыкались

о свои военные воспоминания, и они осколком застревали и в моей памяти, и моем блокноте, и на пленке…

Во-вторых, я сама ребенок войны, чудом выживший младенец. Значит, **это и моя война**, ставшая нянькой целому поколению уцелевших детей разного возраста! И поэтому далеко не всем подходит выражение, что они родом из детства. Часть из нас, сегодня живущих, родом из войны. Вот и получается, что дети военного поколения, последняя живая связь с самой страшной войной в истории человечества, приняли эстафету памяти у фронтовиков.

Как-то работая в проекте «Участники Победы» на «Радио России», я начала собирать эти разлетевшиеся во времени страницы детского военного дневника. Проект давно отзвучал, а «моя война» для меня не закончилась. И судя по письмам, которые пришли в адрес моей программы, она не закончилась и для других детей войны. Все правильно, эпизоды детства, ставшие потрясениями, живут с нами всю оставшуюся жизнь.

И почему-то вспоминаются строчки поэта-фронтовика Юрия Левитанского:

Я не участвовал в войне,
Война участвует во мне…

Я продолжаю искать моих героев – детей войны, продолжаю собирать дневник детской памяти и верю, что каждая его страница станет укором взрослым амбициям. Каждая его история, как еще один звук колокола, напомнит миру о том, что детство и война – понятия несовместимые. Как жизнь и смерть!

Один ребенок войны, переживший оккупацию, написал: «Я скажу страшную вещь: если вы, взрослые, решите начать войну, поубивайте сначала всех детей… потому что после нее невозможно остаться нормальным человеком». Это слова драматурга Александра Гельмана.

И мне хочется добавить – опомнись, Взрослый Мир, не наступи на свое Завтра!

Мне очень жаль, что этот дневник нашей коллективной памяти никогда не сможет быть полным, хотя мог бы стать многотомным! Потому, что уходят не только те, кто прошел бои и окопы, но и те, кого застала война в колыбели или за школьной партой, кого поставила к станку на замену взрослого в «сороковые-роковые». Дети войны – поколение на исходе. Тем ценнее эти страницы дневника, конкретные чистые первоисточники, без которых летопись Второй мировой не может быть полной.

Лариса Машир

Да простят меня военные историки! Исследуя войны – цели, причины, характер, исход, вооружение и еще многое другое, они теряют Человека. А поскольку военная история – наука собирательная, то она нуждается в пополнении свидетельских показаний очевидцев военного процесса.

Под этой обложкой 40 детских судеб. Рядом с очень известными именами менее известные и совсем неизвестные – война слишком цинична, чтобы интересоваться Будущим каждого из нас!

Вместе со мной историю дописывают ее бесценные свидетели – дети оккупированных территорий СССР и Европы, дети Ленинградской блокады и прифронтовой полосы, дети гетто и сибирской ссылки, дети ближнего и дальнего тыла. В общем хоре Победы живут и наши детские голоса!

* * *

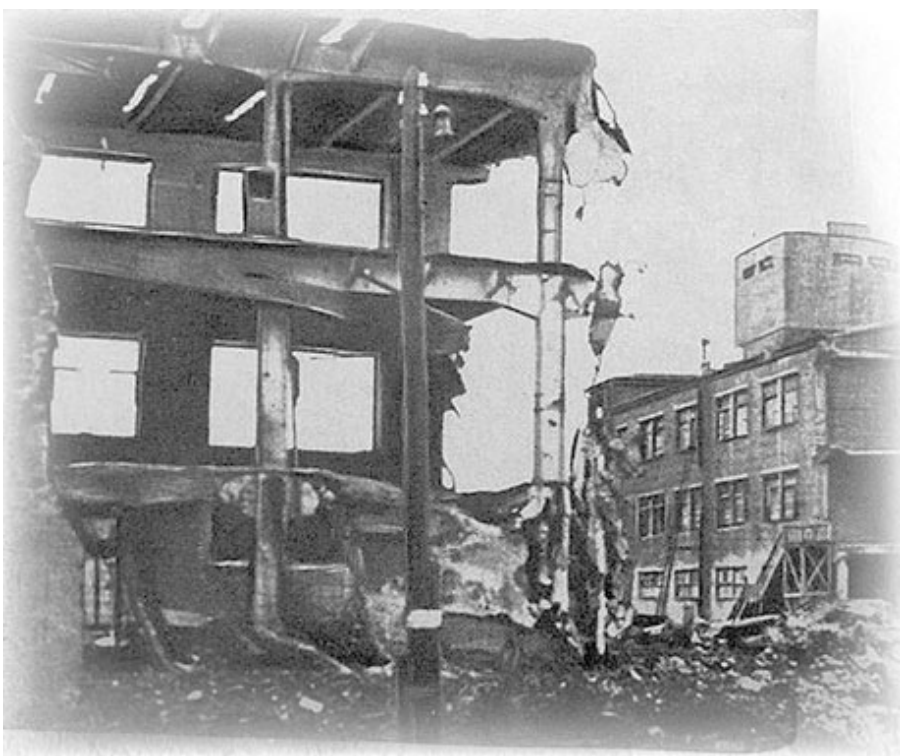
Этот дневник откроет письмо Юлии Сперанской из Нижнего Новгорода, одной из тех, кто осиротел в первые же часы войны. Ей было 11 лет.

Из письма Юлии Сперанской (Селивановой) (г. Нижний Новгород)

Война ворвалась в мое детство внезапно и оглушительно – с бомбежками, пожарами, бегством, паникой, слезами и сиротством. Затем – голодом, холодом, болезнями и непрерывным трудом не по силам. Жизнь развернулась на 180 градусов и больше никогда не вернулась к моему довоенному состоянию. Детское сиротство – это сиротство навсегда – для моих детей, внуков…

22 июня 41-го года мы оказались под бомбами. За два месяца до начала войны наша семья вместе с другими офицерскими семьями прибыла в Белосток, местечко Россь в 60 километрах от границы с Польшей. Мы – это мама, папа, годовалая сестренка, я 11 лет и мой брат Лева 15 лет. Прибыли мы сюда из Горького (Нижний Новгород). Помню быстрые сборы…

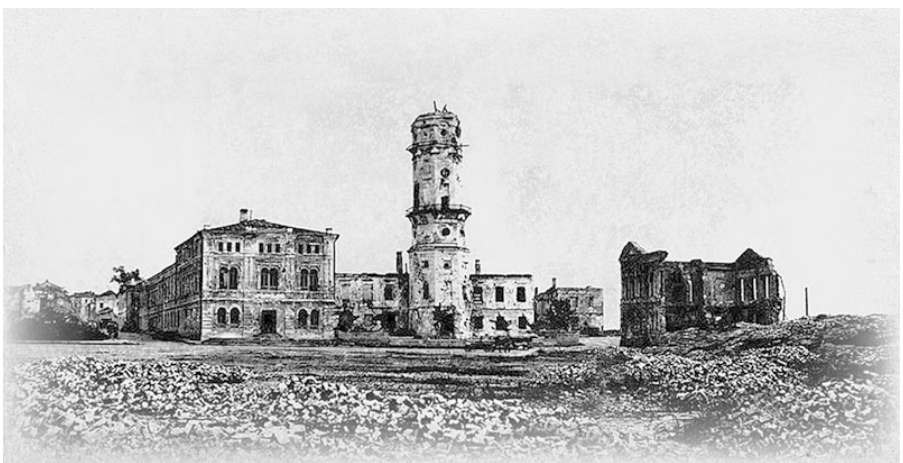
* * *



Отец мой, капитан-артиллерист Селиванов Георгий Сергеевич, однажды придя домой, сказал, что есть приказ: их дивизию (только сформированную) двинуть на запад, на границу с Польшей. Причем семьи брать с собой в обязательном порядке. Отец очень не хотел нас брать, как будто чувствовал. Мы могли переждать у деда в деревне под г. Ковров, как переждали финскую войну, но приказ есть приказ. И вот мы под Белостоком.

А дальше помню возмущенного отца, который маме буквально кричал, что все зенитные орудия его отдельного зенитного дивизиона расположили средь голого поля, хотя рядом есть лес и перелески, что на все запросы отца в Генштаб – «нет ли ошибки в координатах?» – отвечали: нет, ставить там, где указано. Отец, приходя на обед, не просто нервничал, он громы и молнии метал и говорил, что в Штабе предательство.

Я знаю, что орудия они, конечно, маскировали, но срубленные деревья быстро засыхали, и все было видно как на ладони. (Эти орудия в первые же минуты войны немцы сбреют с воздуха.) В другой раз отец возмущался, что весь летный состав с местных аэродромов отослали в отпуск, оставив только техников для текущего ремонта самолетов. Еще отец говорил о том, что у него мало боеприпасов и техники, что за беседы офицеров с солдатами о приближающейся войне могут расстрелять как паникеров. (А радио пело: «Если завтра война, если завтра в поход, мы сегодня к походу готовы».) Все эти папины слова мы потом восстанавливали. Казалось, что даже дети чувствовали какое-то предгрозье, но уехать было нельзя.



Мало того, за 6 часов до начала войны всех офицеров из ближайших частей приказом собрали в Белосток на банкет

с торжественной частью, концертом и застольем под носом у немцев. Отец у нас был непьющий, даже некурящий и очень ответственный человек. Про его авторитет в офицерской среде мы знали. Между прочим, он у нас из потомственного дворянского рода военных. Часов в 12 ночи он сбежал с банкета, чтобы успеть домой, и сел на последний поезд в восточном направлении. Ночью он нас разбудил, сказал: «Сядем последний раз за стол все вместе, война началась». И мы услышали рассказ отца. Оказывается, весь ночной состав поезда был просто забит молодыми мужчинами, одетыми под грибников и рыбаков, один отец был в форме офицера. Он сказал, что это диверсанты, и они уже в нашем тылу, и скоро исчезнет связь. Не доезжая до станции, он спрыгнул на ходу и 15 километров пешком через лес прибежал к нам на хутор.

В *4* утра над нами уже ревели и кружили самолеты. Нас бомбили. Отец убежал на свою батарею. Низко, на бреющем полете, самолеты крошили батарею из пулеметов, все смешав с землей. Что мы чувствовали, не берусь даже описывать, просто не найду слов.

Как только самолеты улетели, появился отец с машиной-полуторкой, с охраной и в один момент погрузил нас и еще три семьи, чьи мужья не вернулись с банкета. Он приказал гнать на восток без остановок. Но нам пришлось останавливаться – радиатор закипал. Все попутные города уже горели после налетов: Бобруйск, Слоним, Барановичи… Деревенские угоняли в лес скот. Мы добрались до Могилева с приключениями за несколько дней. Ехали только ночью, дороги обстреливались, машину у нас все пытались отнять военные. В конце концов отняли, а взамен дали другую – газогенераторную с двумя печками и максимальной скоростью 30 км в час. Такие машины были на вооружении и под Белостоком. Кругом паника, связи никакой, беженцы – кто на чем. Мы на какой-то станции погрузились в эшелон с беженцами. Кругами, югом ехали в Пензу чуть ли не до самой зимы. И от Пензы своим ходом стали добираться в Ковров под крышу к деду. Вестей от отца не было… никогда!

Мамин брат, узнав о приказе Сталина «пленных считать предателями, а их семьи ссылать», запретил маме искать отца, ходить и писать куда-либо. И мы замолчали. Мама вышла на работу в колхоз…

* * *

Через некоторое время я все равно стала посылать запросы (и так до сего времени) – искать след отца. Ответ отовсюду приходил один и тот же: «Нет сведений. В убитых и пленных не числится». Только поисковики мне ответили, что все исходные данные на отца нашли до самой передислокации в Белосток, а дальше практически все материалы, относящиеся к первым дням войны, из архива изъяты, то есть засекречены, – естественно, не только на отца, а на всю дивизию. (По данным 2004 года.)

Прошло время, и стало известно: первый «котел» был как раз на Белостокском направлении, где в плен попали десятки тысяч (!) наших бойцов и командиров. По признанию самих немцев, они не были готовы к такому количеству пленных. У нас тема плена долго была закрытой…

Кто мне ответит, где сгинул мой, наш отец? В плену? В бою в числе незахороненных? Что с ним стало? Ведь хоронить гигантские потери было в том аду некому. Мы теперь знаем – сами поля боев стали огромными братскими могилами…

Так и ушла с этой болью наша мама, которая старалась заменить нам хоть в чем-то отца. Но что могла мама, которая работала в бригаде от зари до зари за палочки-трудодни, по которым осенью почти ничего не выдавали. Все зерно колхоз сдавал государству как госпошлину. Налоги на крестьян были такими, что скот быстро перевели. Весь год женщины-труженицы со своего хозяйства (личного) сдавали государству (бесплатно) молоко, мясо, яйца, шерсть, оставляя себе крохи. «Все для фронта! Все для Победы!» А потом – для послевоенной разрухи! Дети трудились почти как взрослые. Мой брат Лева

с 16 лет встал к станку на заводе, работая по 12 часов за 800 г хлеба, наравне с маминым братом и ее младшей сестрой. Мама и дед весь световой день в колхозе. А я с 11 лет и печи топить, и воду носить, и полы мыть, и сестренку нянчить, и огород поливать, и траву полоть, и по осени в колхозе овощи убирать. Руки и коленки мои от работы были черно-зеленые. Почти до снега босиком бегала. Помню и золотуху, и вшей. Помню, как огород под картошку пахали, как всем гуртом вместо лошади впрягались – 10 человек в оглоблю поперечную, а дед сзади с плугом…

Всех мытарств моих детских не перескажешь. Сколько сирот войны пережили такие беды! А сколько сирот этого не смогли пережить! Если бы живы были наши отцы!..

Еще не кончилась война, я в 14 лет ушла в школу в Ковров и уже все время жила среди чужих людей. Умудрилась институт окончить в Одессе с отличием и вернулась инженером на Волгу, где начиналось мое довоенное, досиротское детство… Мира всем нам!

* * *

«13 мая Генеральный штаб дал директиву округам выдвигать войска на Запад из внутренних округов. (…) из Приволжского военного округа в район Гомеля – 21 армия…»

Из книги Маршала Советского Союза ГК. Жукова, «Воспоминания и размышления», Издательство Агентства печати «Новости», Москва, 1969 г., с. 228.

Виртудес Компань Мартинес, редактор, переводчик

Я из тех испанских детей, которых принял Советский Союз в период гражданской войны в Испании. Родилась я в феврале 1928 года на берегу Бискайского залива, в городе Сан-Себастьяне. У нас была большая дружная семья. Мама, папа, бабушка и шестеро детей. Отец был маляром. Мама служила на кухне в летней резиденции короля в Сан-Себастьяне. У моего очень красивого города давняя слава места отдыха королей.

Как известно, противостояние монархии и республиканцев длилось не один год и все кончилось диктатурой Франко. Отец мой был убежденным социалистом, и, когда семья оказалась в опасности, он принял решение эмигрировать. Наша семья уезжала в спешке, ночью, «последним поездом», как сказал папа. Я помню, наш путь в порт Бильбао, потому что по дороге я впервые услышала выстрелы и рядом с нами свист пуль. Если ты хоть раз услышал звуки войны, то их не забудешь никогда…

Но первое мое воспоминание из испанского детства связано со школой. Это важно мне рассказать. Я помню, как я пришла в первый класс народной школы. Мою учительницу звали донья Хуана. И вот когда за мной пришла мама, донья Хуана сказала ей: «Вашей способной девочке здесь нечего делать, отдайте ее в платную школу». И тогда отец сказал: «Буду работать день и ночь, чтобы моя девочка могла там учиться». Старшая сестра, которая была уже ученицей швеи, сшила мне форменное платье, какое носили в платном колледже, и мама отвела меня в новую школу, где учились дети богатых. В первый же день у меня случился конфликт. В школьном дворике мои соученицы держались отдельно от меня. Они глядели в мою сторону и шептались. Вдруг над их головами появилась рука и бросила камень, который больно ударил мне в плечо. В одну секунду я оказалась рядом с обидчицей и вцепилась ей в волосы. Классовая борьба в самом чистом виде, и это в 7 лет! Обида моя была так сильна, что я оттаскала эту девочку как следует. Меня отвели в школу и поставили в угол на колени, причем руки надо было держать на уровне плеч, как на распятии. Если рядом никого не было, я опускала руки, но появлялся взрослый и указкой поднимал их. Когда за мной пришла мама, она услышала, что у ее дочки «лицо как у ангела, а душа как у черта». Ой, сейчас-то мне смешно! Помню, дома бурно обсуждали мое поведение. Старшая сестра так возлюбила меня – «пусть знают

буржуи, что такое рабочий дух»! И я была довольна – победа была за мной! Больше меня в школе не трогали. Я хорошо училась. Мы ставили к праздникам сцены из Библии, и я всегда в них участвовала. Но учиться мне долго не пришлось. Когда я была в 3-м классе, в апреле 37-го года, как мы знаем, «Люфтваффе» разбомбил Гернику – город басков…

* * *

А дальше я помню себя среди толпы на площади в Бильбао перед красивым белым пароходом. Так много солнца и так много нас – красивых детей! На мне все лучшее, и новые золотые сережки, и крестик на золотой цепочке, но почему взрослые плачут? Даже моя старшая сестра Анхелита, которой 12 лет, тоже плачет, а ведь она со мной едет на этом красивом пароходе. Мне 9 лет, и я пока не понимаю, что, возможно, никогда не увижу своих близких. Я еще не знаю, что еду в эмиграцию в Россию, что испанская социалистическая партия на период войны высылает из страны детей от 5 до 15 лет. Тогда многие страны приняли испанских детей, но большинство из них вернулись вскоре после войны. Только в России испанские дети – почти 3 тысячи – «задержались» на годы.

Анхелита в 60-е вернется в Испанию. А я буду навещать ее и родных. Я из тех испанских детей, кто остался в России навсегда. У нас две Родины!

Итак, мы бежим от войны через Францию в Россию, не зная, что через *4* года война догонит нас, и мы снова будем от нее спасаться…

Французский порт Бордо, часть детей сошли на берег. Я даже помню, что их встретили булочкой с шоколадом. А нас пересадили на французский торговый пароход «Sontey». Помню темный трюм, где высокими штабелями лежали матрасы. Когда мы плыли на север, к Германии, испортилась погода, была гроза и сильная качка, огромные волны били, нам было так страшно! Сестра выходила наверх в очередь за пайкой хлеба, ей мою пайку не давали – «пусть сама идет». Но я больная так и пролежала на этом матрасе. И вот помню, как сестра насильно тащит меня из трюма на верхнюю палубу. А там снова солнце светит, тепло, красивое море! А впереди, внизу тоже море голов встречающих. Я бы сказала, море русских голов! Ленинградцы встречают нас, испанских детей – разве такую картину можно забыть! Я плачу до сих пор, когда вспоминаю…

Мы готовы бежать вниз, а нам говорят: «Спать пора!»

Как спать? Мы ничего не можем понять, а это просто белые ночи, которых нет в Испании! Наверное, мы поспали. И вот утро! Нас построили парами, и мы стали спускаться. Было впечатление, что люди до утра никуда не уходили. Мы шли между милиционерами в белой форме, которые стеной стояли, сдерживая людей. А люди улыбаются, что-то кричат, – мы ничего не понимаем, конечно, – игрушками машут, но милиция не разрешает нам их давать, в целях безопасности…

Потом нас привели в душ, сказали раздеться. С меня сняли и сережки, и крестик. Вышли мы уже с другой стороны, выдали нам одинаковые темные байковые платья в цветочек. Но они большие, а мы маленькие, и нам выдали бинты, чтобы мы их подпоясали покороче. Вот все ушли, а я уперлась: «Не пойду, отдайте мои сережки и крестик». Я не понимала, почему у меня это забрали, как и сейчас не понимаю. Что тут скажешь – из-за каких-то нескольких человек я не могу говорить о русских плохо после того, что потом я получила от них! Простите, что много плачу!

Отвели нас в зал, где был накрыт длинный стол. Стали нас рассаживать. Помню, суп был и много всего разного. Так только русские могут встречать! Больше помню черную икру, которую мы до того никогда не видели и не знали, что это такое. Она была в специальных блюдах и оттуда ложка торчала. И вот разыгралась такая сцена. Какой-то мальчишка, чуть постарше меня, стал кричать: «Не ешьте это, нельзя, нас хотят отравить!» – и стал раскидывать черную икру этой самой ложкой во все стороны. Ой, как вспомню, так смех сквозь слезы! Тогда я думала: может быть, это правда яд! Кажется, никто из нас икры не тронул…

Отвели нас в школу, там большие классы и спальни – кроватки белоснежные. Говорят – спать. Мы никак не поймем – все время светло, зачем спать!

* * *

На следующий день поезд повез нас на Азовское море в Бердянск, в пионерский лагерь. Русские девочки занимались с нами. Помню Нэлю и Сару с длинной косой, они учили меня гимнастике и от себя не отпускали.

А потом было Тишково под Москвой, станция Правда. Нашему дому-интернату № 1 отдали чей-то дом отдыха – три огромных корпуса в лесу. Очень красивое место. Когда мы приехали из лагеря, там уже были астурийцы – дети из другой области Испании. И у нас были даже стычки – баски против

астурийцев, но нам не давали враждовать. Учителя у нас были и русские, и испанцы-политэмигранты. Помню своего математика Хосе Ареги, который потерял на фронте руку.

* * *

На мой взгляд, наш дом был совершенно удивительным по своей организации, по отношению к нам! Директор Паньшин Николай Андреевич был так заботлив, ухаживал за нами! Мы жили бурной интересной жизнью, а сколько кружков самых разных! У меня был балетный, хоровой и еще учитель музыки. Мы ездили с концертами испанских танцев и песен во Дворец пионеров, еще куда-то. Из Большого театра к нам приезжал раз в неделю балетмейстер Владимир Белый. Мы с ним учили танцы разных народов – русские, украинские, грузинские, польские… И костюмы у нас были! Я была очень веселой девочкой и любила танцы. Директор Дворца пионеров Москвы просил моего директора отпустить меня с детской концертной бригадой в Крым. Но план остался планом! Война!

* * *

Хорошо помню первый снег в своей жизни. Я жила в 1-м корпусе для самых младших. И вот однажды утром мы проснулись, а за окном все бело, ночью выпал снег, которого мы никогда не видели. Все выбежали на улицу, и старшие дети тоже стали кидаться снегом. Воспитатели за нами бегают – не могут нас собрать. 500 человек в одних рубашечках бегают по снегу, который оказался не только красивым, но и холодным. Сосны стоят в снегу, искры играют на солнце, такая красота, чистота, белизна! Наверное, я тогда полюбила на всю жизнь Россию, ее природу, снег…

Я не могу жаловаться ни на что! Возможно, из-за того, что я никогда не болела, хотя другие дети болели и даже умирали. Но это была война!

И вот опять наш директор молодец! Он сразу пригласил военрука, который учил нас стрелять, паковать рюкзак, сворачивать скатку из одеяла. Потом оказалось директор сушил для нас сухарики. Когда осенью нас отправили в эвакуацию и мы прибыли на пароход «Калинин» – пассажирский, трехпалубный, – с нами погрузились еще два испанских детских дома из Подмосковья, третий и пятый, так вот у тех детей ничего не было, а мы получали к чаю сухарики. Правда, мы плыли дальше других, мимо Саратова, на левую сторону Волги. Я знаю, что один дом высадили в Базеле, а нас – в Куккусе. Это был райцентр, и это земля немецкой автономии. Как известно, с приближением фронта жителей этих мест выселили дальше на Урал и в Сибирь. Мы на следующий день стали свидетелями того, как отправляли последнюю партию российских немцев. Дома уже стояли пустые. Оставались женщины с детьми, у кого русские мужья были на фронте. Но фашисты прут, и тогда немки с детишками тоже должны быть отправлены.

Вот вам такая картина! Пока наши взрослые и старшие дети занимаются обустройством, мы свободны. Идем утром – это после сухариков, с пустыми желудками по пустым улицам. И вдруг запах вкусной еды! Заборы маленькие, не то что сейчас. Видим, во дворе две женщины – молодая и постарше, с ними трое ребятишек, которые смотрят на нас, удивляются. Они что-то говорят, мы, конечно, не понимаем, стоим, оторваться от запаха не можем. Вдруг молодая идет к нам с блюдом, полным пирожков, и нам протягивает. И тут одна наша девчонка как закричит: «Вам сказали у них не брать, могут отравить, воду из колодцев не пить!» Я говорю: «Дура ты, они себе напекли в дорогу и нам, чужим детям, отдают!» Не могу спокойно рассказывать, комок в горле…

И вот мы пошли их провожать. В памяти осталась картина –

открытая баржа с детьми и женщинами посреди реки. А на берегу мы – дети и собаки, целая стая собак собралась у этой баржи, и как же они выли и метались, берег нюхали, хозяев ждали, которых отсюда увезли. Долго их вой стоял в поселке. Коровы неприкаянные ходили с тяжелым выменем. И вот одна русская воспитательница научила нас доить, и я доила тоже. Помню свою первую корову – полвед ра молока ушло в землю, я от горя так плакала…

В общем, у нас появилось молоко. Страна голодала, а у нас молоко рекой лилось. Им-то, ссыльным, ничего не разрешалось брать, как нам рассказали, кроме одной вареной курицы на семью. Мы ходили по этим чистеньким домикам, где висели красивые открытки немецкие. Все кровати были аккуратно застелены, как будто хозяева ненадолго вышли. Надеялись, наверное, скоро вернуться. Амбары полные, и на огородах видно, что до последнего шла работа. Был сентябрь, и этот урожай нас кормил. Помню, как на огороды бегали. Вот идем, берем арбуз, разбиваем, мякоть из середины съедаем, следующий берем, разбиваем, сердцевину съедаем и дыню так же…

Потом эвакуированные и беженцы устраивались в этих пустующих домах.

А мы занимали казарму на окраине Куккуса – все солдаты на фронте. Но нас было много, мы «валетом» спали по двое на узких железных кроватях, которые шли в два этажа.

* * *

Помню случай ночью в казарме. Зашел директор, а мы только что вернулись после первого похода в деревню. Там в полях оставалась еще морковка кормовая и свекла. А уже начались дожди, ходить по чернозему невозможно, трудно стало. И вот я и еще две девочки согласились со мной пойти, сняли свои белые наволочки и ушли тихонько, когда воспитатели легли спать. Ну, директор в дверях: «Кто ходил?» А в ответ хруст в казарме, мы трофеи грызем. Он опять: «Я спрашиваю!» Все молчат, в ответ только хруп стоит. Никто нас не выдал. Он постоял и ушел. А ведь так просто было увидеть грязных детей. Но он не стал зажигать свет. Очень благородный человек! Все знали, что мальчишки бегали на огороды. А тут и девочки, он понял, тоже могут. Мы недоедали, и директору, конечно, было непросто, особенно вначале. А уже весной ему участок дали в аренду – заливные земли. Мы стали для себя сажать все, и морковку, и даже помидоры. Но дежурить приходилось по очереди, потому

что голодные эвакуированные ходили, срывали. Мы и в колхозе работали вместе с русскими ребятами, помню, просо помогали выращивать и на прополку ходили – ряды такие, что конца не видно. А наши мальчики 14–15 лет и на тракторах, помню, работали, соревновались, и кто-то из наших победил…

* * *

Нашу первую утрату тоже помню. Лето, мы с утра пололи наши грядки. А потом воспитательница Шура разрешила искупаться. И вот мы по дороге искупались, Шура нас считает – одной нет. Смотрим, лежит на воде наша девочка. Ее звали Луция, очень красивая была. У нее было слабое сердце. Шура попросила меня помочь ей с Луцией, и я через свой страх перешагнула. Это мой характер – если надо, значит, это буду я. А потом меня звали, когда надо было кого-то из детей собрать в последний путь, так сказать, больше некому было. Да, болели дети, и кто-то умирал. Моя подружка Мелагрус тоже умерла. За время эвакуации с сентября 41-го по 43-й год мы потеряли 6 детей. И брат Луции умер – у него тоже было слабое сердце. Война…

* * *

С сестрой мы расстались. Анхелес и других ребят, кто подрос, отправили в ФЗО (фабрично-заводское обучение) в Ташкент – раз идет война и на заводах не хватает рабочих рук, значит, могут помочь дети. После войны она вернулась в Москву. Кстати, Анхелес и еще один наш выпускник стали первой парой в нашем детском доме.

Еще у нас был один переполох – к нам в Тишково приехал молодой офицер просить руки нашей девочки, но директор сумел его убедить – не спешить.

* * *

Как положено детдомовцам, в 14 лет я поступила в Московский текстильный техникум и вышла помощником мастера по текстильным станкам. Помню и знаменитый физкультурный парад в 47-м году на стадионе «Динамо», где я и мои друзья-гимнасты из спортивного общества «Трудовые

резервы» принимали участие. На трибуне стояли Сталин с Молотовым. На фотографии мы такие гордые и смешные, в одинаковой форме…

Поработала мастером, а потом поступила в Московский пединститут им. Ленина. Была переводчиком и редактором в издательстве «Прогресс». Семья моя – русско-испанская. Два сына служили в русской армии, третий сын – в испанской. И всякий раз, когда я бываю в Испании, я говорю всегда одно и то же: «Как можно не любить русских, если они так себя ведут!» Я на испанском языке написала даже книжку «Я русская испанка».

Петр Обыденный, ученый-биолог

О начале войны мы узнали на привокзальной площади Брянска, когда наш поезд сделал остановку. Мы – это четверо детей и мама – ехали к деду Ивану на каникулы. Отец наш Трофим Иванович оставался в Москве, он работал прорабом, а лето для стройки горячая пора. И потом отец собирался в этот год поступать в институт, хотел стать инженером-строителем и ходил по вечерам в профшколу. Мама работала вместе с отцом и, чтобы нас отвезти, взяла отпуск. Они как раз строили тот дом, где нам должны были дать хорошее жилье вместо комнатки в двухэтажном бараке. Детей в семье было четверо: старшая Лида 13 лет, мне – 12 и двое младших – погодки Ира и Коля 8 и 7 лет. Был еще братик Алеша, но перед войной он заболел и умер.

* * *

В самый последний мирный день 21 июня 41-го года мы на московском вокзале простились с отцом навсегда! Поэтому в памяти остались шумные проводы у нашего вагона, его шутки, наказы, наши обещания, смех, поцелуи.

Он ушел рядовым дивизии народного ополчения. Я думаю, что военкомат не призвал его по причине серьезной травмы. Когда он был опалубщиком на бетонных работах, оборвался крюк подъемника и содрал ему всю кожу на спине. К слову сказать, он сам себя спас – стал выходить в садик и солнцу подставлять спину, так и вернул себя к жизни, когда врачи уже не надеялись. Он пропал без вести под Великими Луками, где, по выражению военных историков, был свой «малый Сталинград». Теперь мы знаем, что ополченцы были самой беззащитной частью нашей армии. После войны на вопросы об отце я отвечал: «Убит, не найден». Он успел прислать всего два письма. Третье было уже о нем самом…

А тогда, 22 июня на брянском вокзале, мама сразу кинулась в кассу за обратными билетами, но ей сказали: «Москва закрыта, поезжайте куда ехали». И наша мама Евдокия Калиновна решила добираться под Курск в деревню Ярославка к папиным родителям. Больше все равно ехать от войны было некуда. Мама наша сирота, ее родители Липа и Калина умерли в 25-м году во время эпидемии холеры.

Кто мог знать тогда, что мы окажемся в оккупации и чудом выживем на месте исторических боев, на Курской дуге…

* * *

В памяти осталась такая картинка по дороге к деду. Какой-то мальчишка боролся с гусем, ростом с него самого. Гусак шипел и размахивал большущими крыльями, а мальчишка кричал ему: «Фашист ты, фашист!»

Дед наш Иван Петрович плотник был первоклассный и сыны у него тоже рукастые были, потому и дом-пятистенку хороший поставили. Дед побывал в немецком плену в Первую мировую, немногословный и грамотный, он имел большой авторитет на селе. Помню, у деда совет собрался, и было принято решение: коровье стадо угонять на восток. А коней мало было, их раздали по большим семьям. Нам досталась маленькая гнедая лошадь по кличке Кукла. Дед поручил эту лошадь мне. Я ее поил, кормил, мы с ней пахали и сеяли в первую весну. Любил я ее, и она меня тоже, слушалась всегда!

Еще до прихода немцев через деревню небольшими группами прошли наши солдаты на восток. Мы их кормили и с собой давали. А потом появились немцы. Это была наша первая оккупация. Расположились они в соседней Хомутовке, в большом селе. А к нам приезжали с подводами, шли по домам, выгребали все, требовали «хлеб для Германии». Забирали мелкую скотину, гонять стали кур, гусей. Мы, ребятишки, быстро сообразили, что лучше посвистеть как надо – мы мастера в этом деле, – и птица вся разбежится.

Надо сказать, ни одного обоза с нашим продовольствием не ушло в Германию. Партизаны отбивали и загоняли к себе в лес. Иногда дед меня снаряжал связным, иногда кто-то другой из детей сообщал про обозы. От партизан я тоже приносил всякие новости, и очень гордился тем, что я связной, что служу Отечеству.

К тому времени в партизанах уже были двое сыновей деда, мои дяди. Сначала ушел Григорий, он работал учителем в соседних Дубовицах и был коммунистом, но из-за больных с детства ног не был мобилизован. А потом с окруженцами пришел Иван и ушел к партизанам. Иван тоже был строителем и работал в Москве вместе с отцом, оттуда его и призвали. На фронте воевал и четвертый сын Федор, который закончил войну в Берлине…

Партизаны приходили в село ночью в основном за картошкой. А немцы – только днем. Помню, как полицаи пронюхали, что у нас есть пасека, пришли, застрелили нашу собаку, разбили и перевернули ульи, а рамки с сотами унесли. Когда сосед пристыдил – «что ж у детей последнее забираете», –

его застрелили, чтобы не перечил.

Помню, в соседнем Глухове был концлагерь для военнопленных, и наши бабы ходили туда искать родственников. Немцы отпускали, чтобы было кому на них работать. Кое-кто даже нашел своих родных. Но в основном бабы спасали совсем незнакомых, и те работали при домашнем хозяйстве, а потом уходили в партизаны. Тот сосед, которого убили на пасеке, был из этих военнопленных.

* * *

В 43-м, под Новый год, к нам подошла линия фронта и даже продвинулась на запад, за нашу деревню на несколько километров. Мы пережили это в укрытиях, сами для себя их копали. Но через две-три недели, не удержав обороны, наши войска отступили обратно. И тут часть деревни, те, кто был связан с партизанами, поднялась и ушла с нашими отступающими войсками. Дед боялся за нас и решил, что мама с детьми тоже должна уйти, иначе расстреляют. Мы взяли нашу кормилицу корову Зорьку и лошадь, а дед остался с больной бабкой. Отправились мы в соседнюю деревню Мельницу, где наши войска задержались. Я ехал верхом, а мама шла рядом с Зорькой, которая тащила повозку с ребятишками. И тут началась бомбежка. Я видел, как мама свалила Зорьку, и они легли рядом. А моя Кукла испугалась и понеслась, меня

не слушая совершенно! Остановилась она, когда мы въехали в какой-то лесок. Ночь мы с Куклой переждали. А под утро наткнулись на наши посты. Мне сказали: «Слезай парень, нам лошадь нужна». Я стал их умолять взять и меня, что буду за лошадью ухаживать и во всем помогать. Мне сказали: «Ты мал еще, нельзя, добирайся к своим как-нибудь сам». Потом я увидел, зачем им нужна была моя Кукла – для похоронной команды. Ох, и тяжело мне было от этой потери! Но война есть война!

Помню, отошел я километра три и опять налет. Причем прямо на тот лесок, где мы с Куклой были, они пикировали, а я сидел под кустом и мечтал о винтовке, из которой бы стрелял, стрелял…

С неделю я бродил от деревни к деревне, все искал своих. Меня подкармливали, говорили, куда надо идти. По дороге ко мне пристал еще один потерявшийся мальчишка помладше меня. Помню, его звали Костя. Но потом я пошел опять один, потому что он заболел и слег в одной деревне. Весна была, распутица и разлив рек. А обуты мы были все равно что разуты! Мне повезло больше – я скоро нашел своих…

И вот помню, как нам, беженцам, указали, где можно пасти корову. Сказали, чтобы вот здесь, и больше нигде. Когда на поляне вся трава была съедена, я стал уговаривать Зорьку перейти на полынь, которую она, конечно, есть не хотела. Я умолял ее: «Смотри, Зоренька, какая свежая трава, а то, что горькая, тебе не вредно». Я ее так просил, что она начала есть полынь! Домашнее животное все понимает! Молоко стало горьковатым, сестренки меня поругивали, но пили. Зато когда шли через деревню разные болезни вплоть до тифа, в нашей семье никто не заболел…

* * *

Примерно через 8 месяцев мы вернулись домой. Шли за нашими наступавшими войсками, что называется, след в след, чтобы не подорваться. Наша Ярославка была в северной части Курской дуги, а какие бои там шли – общеизвестно. Во время нашего наступления дом деда сгорел. Но деда с бабкой в нем не было, наш хороший дом заняли немцы, стариков выгнали, а на огороде построили бункер в три наката. Первую зиму после освобождения мы жили в этом бункере. А весной начали заново строиться и бревна от бункера нам очень пригодились. Дед руководил и сам строил. Мы с мамой, как могли, помогали. Из сыновей остался с нами только Григорий. А все партизаны влились в действующую армию, и Иван тоже ушел воевать…

Помню, как мы с мальчишками бегали по полям сражений и окопам, чувствовали себя победителями и немецких трупов потом не боялись. Многие из них были полузасыпаны, особенно по краям воронок. В блиндаже я нашел полевую сумку с патронами и блокнотами, на которых потом в школе писал. Нашел ракетницу и сделал красные чернила. Нам было не на чем писать и нечем.

Один раз нашел скатку – немецкую шинель такого же тощего, как я, фрица, и ходил в ней зимой в сельскую школу, и в Москву в ней приехал. Мы же за годы войны выросли, а у нас ни одежды, ни обуви. Нашел однажды ботинки немецкие на толстой подошве, только они не выдержали нашей черной жирной грязи. Когда завяз в них и потом выдернул ногу, то остался без подошвы. Пришлось мне перейти на самодельные лапти, как и всем, мы их тогда обшивали резиной от брошенных колес. В общем, все, что находили на полях сражений, старались для дела применить. К радости деда, я прикатил четыре хороших колеса от танкетки на шарикоподшипниках. Сделал дед телегу, и мы стали запрягать нашу Зорьку, чтобы дровишек привезти или сена.

* * *

Во время наших обходов по полям боев были жертвы, подрывались мальчишки. И моя беда пришла, только позже. Петька Сечкин, мой дружок, был старше меня на год, его позвали в специальный отряд, а меня нет. Я этого не мог пережить, хотелось быть максимально полезным! ОСОАВИАХИМ прислал из города Рыльска двух минеров, которым было поручено набрать

мальчишек 1928 года рождения, обучить и приступить к разминированию. Я долго их уговаривал, но бесполезно. И все равно я ходил с Петькой на инструктаж, а поскольку я был рослый и в итоге подготовленный, они сдались. И вот подсохли поля, крестьяне ждут, им сеять пора и фронт уже далеко. Мы вышли на работу. Сначала только смотрели, как разминируют, и таскали, складируя, уже бесполезное железо. Немцы, конечно, аккуратные вояки, раскладывали мины по системе. Но, видимо, когда пахнет жареным, допускали и ошибки. И вот такая «ошибка» подкараулила нас с Петькой. На том самом месте, которое мы уже прошли, вдруг рвануло под ногами у моего товарища. Он сразу погиб, а у меня разворочена нога, обожжено лицо и 18 осколков. Скорее всего это была противотанковая мина, потому что противопехотная, как правило, отрывает ногу или ступню. Помню это странное ощущение, будто вижу себя откуда-то сверху – кучка грязного окровавленного тряпья лежит. Я знаю, что это я и есть! И пронизывающая мысль, что вот я умер, но ведь ничего еще не сделал! И – туман! Без сознания был долго, а когда очнулся, врачи маму вызвали и сказали – ногу надо ампутировать. Мама пришла в палату подготовить меня. А я ей сказал: «У тебя на руках трое детей, отца нашего нет и еще сын калека, ногу отнимут полностью так, что протеза носить не смогу, а жизни на костылях не хочу, пусть будет как будет». Мама заплакала и ушла. Вынесли меня из палаты в подсобку как безнадежного. В Рыльской больнице всего одна палата была человек на 20. Опять несколько дней без сознания. Очнулся от сильнейшего зуда в ноге. Стал звать сестру. Она пришла, вскрыла бинты, и оказалось, что нога под ними была покрыта сплошным слоем из личинок мух, уже больших. Вот они-то всю мою гангрену и съели! А под личинками оказалась блестящая кожа. После этого врачи мне нашли пол-литра крови и сказали: «Знаешь, кровь не совсем твоя, резус не тот, но другой нет». Я сказал – согласен. Влили мне ее, и двое суток меня трясло, как в лихорадке. А после этого стал поправляться. Помню, врач ущипнул меня возле попы – «о, кожа уже отстает» – а сам смеется, довольный. Это значит, я уже не скелет, если кожа отстает. Мама добыла бутылку меда с маслом, по тем временам счастье немыслимое и дорогое! И я помню, что как младенец жадно к ней присасывался, потом долго вытряхивал ее…

Когда мы с мамой вернулись в Москву, я снова лежал в больнице. Мне подлечили колено, хотя оно не может сгибаться все равно, и удалили часть осколков. Но другая часть – в руке и ногах – осталась на горькую память о войне, ношу до сих пор

с 14 лет…

Валентина Леонтьева, народная артистка СССР

Фрагмент интервью 2000 года.

Горе и трудности всегда сплачивают добрых людей. Я была блокадницей, но это не моя заслуга – так случилось. Во время войны, во время блокады[1] мы, девчонки, бегали по всем лестницам. Двери же открыты, носили крохи хлеба и, главное, – воду людям, которые уже не вставали. Вот так относились друг к другу блокадники.

Я знаю, что такое горе, – я папу мертвого на саночках везла. Вместе с другими бросила его в траншею. Мы были приторможенные все, так организм спасал нас. Иначе мы сошли бы с ума…

Я ходила занимать очередь в булочную в 3 часа ночи, с 6-го этажа по трупам. Потому что все вытаскивали умерших на лестницу, а дальше не было возможности, от голода сил не было. Я была девчонка трусливая и сначала со свечкой ходила, электричества не было. А потом свечки кончились, и я наступала в темноте на головы, на животы, и уже мне не было так страшно.

Я помню однажды стояла в булочной. А народу, как всегда, битком, очередь по кругу, по кругу, и так много раз. И под ногами у меня что-то оказалось, то есть я наступила на что-то,

поднимаю – сверточек бумажный, и так он резинкой несколько раз обернут. И вдруг женщина какая-то криком кричит – карточки потеряла. Хлебные карточки! А что такое хлебные карточки? Это жизнь! И вот она их потеряла. Я пробираюсь к ней. И спрашиваю: не это ли она потеряла?! Она буквально выхватила у меня сверточек и так била меня по лицу, так била… Ей говорят, за что ж ты девчонку так бьешь, она спасла тебя. А та не могла остановиться. И я ее понимала, потому что потеря карточек – это верная смерть для семьи. Вот этот эпизод я никогда не забуду.

И как же мы понимали тогда друг друга…

Мне кажется, если бы я не знала, что такое горе, я не имела бы права говорить о горе других, о судьбах других. Вот бывали у нас в передаче «От всей души»[2] герои самые настоящие, потому что преодолели в себе эту катастрофу и остались людьми. И всегда были людьми! Может быть, поэтому я их помню, всех до одного…

* * *

Например, однажды среди героев передачи оказалась такая хрупкая, тоненькая Соня Воронович. Эта девочка-подросток во время войны творила чудеса мужества! Когда я вызвала ее на сцену, то увидела маленькую женщину с огромными глазами. Я знала про нее, что она в буквальном смысле на коленях выпрашивала у председателя лошадь. Это доверить лошадь в войну сопливой девчонке! А что она делала? Она собирала стариков из окрестных деревень, свозила их к себе, топила баню, обстирывала и чаем травяным поила! Ведер по 40 воды носила! А потом развозила их по домам. Откуда силы брала эта девочка?!

* * *

Нет, женщины в России вообще удивительные! Вот старшая сестра моя Люся, единственная и любимая! У нее же в блокаду сынок родился. Папа наш уже умер. И ведь Ленинград вымирал! [3] Что такое 150 граммов хлеба, и больше ничего! И Люся решила прорываться из Ленинграда, чтобы спасти сына. «Дорогу жизни»[4] по Ладоге еще не открыли. Ей тогда удалось выбраться. Ее пожалели. Только по дороге у нее ребенок умер, и пришлось ей в снегу его похоронить. Попробовала вернуться к нам с мамой, но назад ее в Ленинград уже не пустили. Был военный приказ – ни в город, ни из города! А куда ей деваться? Ехать куда от войны? И вот на какой-то станции ее одна женщина выслушала и сказала: «А поехали к нам»… Добирались они, я знаю, в телячьих вагонах очень долго. Приехали в колхоз, война, работать где-то надо. Сначала Люся дояркой была, потом полеводом, потом агрономом. А ведь перед войной она окончила в Ленинграде институт и музыкальную школу. Она у меня вообще большая умница, она и добрее, и лучше…

А потом, ко всем нашим блокадным бедам, в наш дом попал снаряд, и все – наша квартира коммунальная, где были у нас две маленькие комнаты, – сгорело…

ВОИН КРАСНОЙ АРМИИ,
СПАСИ!

Виктор Гехт, радиоинженер

Моя война началась в сентябре 1939 года, когда Галиция перестала быть польской территорией и, согласно секретному пакту Молотова – Риббентропа, перешла к СССР Мы стали частью Украины. Мой городок Бучач – любимая Родина – красивейшее место Галиции! До Первой мировой это была часть Австро-Венгрии. Сохранились стены старого замка XVI века в окрестностях городка, а в центре его до сих пор стоит красавица ратуша…

Мне было 8 лет. Как положено, я имел и польское имя Дзюнек. Детство мое было беззаботным и счастливым. У меня были бабушки и дедушки, любимые тети. Я был единственным ребенком в семье учительницы и служащего конторы «Заготзерно». Мы «дети разных народов» – польские, украинские, еврейские, немецкие – играли вместе, бегали домой друг к другу, и не было у нас никаких проблем. Родители с соседями – украинцами, поляками – тоже не ссорились, дружили и чем-то помогали. Потом некоторые из них во время оккупации отвечали нам тем же…

В 39-м жизнь стала меняться. Сначала вошли танки, на броне которых сидели красноармейцы. Мальчишки и я в том числе бегали между ними, нам дарили красные звездочки и незнакомые монеты. А через несколько дней мимо нас уже шла колонна польских военнопленных. Помню, как из этой колонны был отпущен наш сосед-поляк, мастер на все руки и просто хороший человек. (Он будет помогать нам продуктами в первые дни оккупации, пока нас не выгонят из нашего дома.) Помню, как вся ребятня мчалась, обгоняя его и друг друга, чтобы первыми принести в его дом весть о том, что их отец возвращается…

Из Германии и Польши в наш городок стали прибывать беженцы – еврейские семьи. Поредели наши детские компании. Богатые семьи с детьми высылались на восток после национализации в пользу советской власти. В это же время польское население массово выселялось на запад, в Польшу. В городе появилось много военных. На окраине города построили аэродром, который разбомбит немецкая авиация в первые же дни нападения на СССР.

* * *

В июне 41-го пришла моя вторая война, личная,

непроходящая. Она забрала мое детство и сделала меня сиротой, но этого мало, она поставила на мне эксперимент на выживание.

В первый же день немецкой оккупации погиб мой дядя – первая жертва в Бучаче. Он бежал на помощь соседям-полякам, у которых после обстрела загорелся дом. Успел добежать до калитки. Оказалось, он не имел права бежать. Осталось у него двое сирот.

Рядом с трагическим почему-то запомнилась сущая ерунда – мы для этих сирот пришли нарубить дрова. Отец рубил, а я собирал поленья. Вдруг во двор заходит немец, с ухмылкой собирает эти самые поленья и уносит на свою полевую кухню, которая недалеко стояла.

А потом к нам в дом пришли и сказали – освободить дом для тех, кто будет работать в имении пана Потоцкого. Сам пан уже уехал в Польшу, но хозяйство у него оставалось большое. Мы ушли к маминой подруге, спали на полу…

Это было только начало. Фашисты пришли и принесли свои законы.

* * *

В 42-м организовали гетто на окраине городка и пригнали к нам еврейские семьи из других городов и окрестностей. Сказать, что жили скученно – не то слово. Дети, старики, женщины, мужчины – все вместе. Сначала были хлебные карточки. Еду плохо помню, только суп – красная от свеклы жидкость, где плавает несколько фасолин. Обменять на продукты вещи было все труднее, потому что из гетто можно было выйти только утром. Еще до того, как всех евреев загнали в гетто и объявили о лишении всех прав, провели регистрацию. Если не будет бумажки – расстрел. Целая система сортировки была разработана. Сначала собрали еврейскую интеллигенцию, коммунистов, комсомольцев и вообще всех активистов, которые были опасны тем, что могли организовать сопротивление. Их расстреляли первыми. Из оставшихся отобрали крепких и работоспособных и отправили в рабочие лагеря. Семьи остались без отцов и старших детей, то есть без опоры. Женщины с детьми и старики, самые беззащитные, партиями расстреливались. А на малых детей даже не тратились, часто они закапывались вместе с мертвыми взрослыми. Отдельно были расстреляны дети до 14 лет. Позже стали вывозить в Белжец – там появились газовые камеры. Причем каждый раз говорили – это просто «переселение». Помню, я часто тогда болел. А во время эпидемии

тифа немцы мало посещали гетто. Подростков с 14 лет гоняли на работы – от бытовой поденки до разных дорожных работ. Потом начались так называемые акции уничтожения. Съезжались полицейские со всей Тернопольской области и начинались облавы и в гетто, и в городе. Мне довелось дважды побывать в «схронах» – это скрытые комнаты. Ставили фальшстену, штукатурили, красили, и тайный ход где-то был. В первый раз я стал свидетелем трагедии. Нас набилось человек 30 в этот схрон. С нами был маленький ребенок, который вдруг проснулся и захныкал. Слышим за тонкой перегородкой крики, сапоги стучат, застрелили стариков, которые уже подняться не могли. Тогда мне казалось, что за стеной слышно, как мы дышим. Все хорошо понимали, что ребенок может нас выдать, но никто ничего матери не сказал. Она сама положила подушку на голову ребенка. Что она могла, несчастная, чувствовать! В жертву его принесла, чтобы нас не расстреляли! Я помню, как все смотрели на мать, на ее мертвого ребенка и плакали. Забыть это невозможно! Никогда!

Сын полка Витя Гехт и танкисты. 1944 г.

* * *

Смерть была вокруг нас. Выжить среди «акций истребления» было очень непросто. И то, что я выжил, считаю чудом! Мне было 10 лет, и я мучил своими вопросами взрослых: «Почему нам в городе жить нельзя, а другим можно?», «Почему нам ходить по тротуарам нельзя, а другим можно?», «Почему мы живем за колючей проволокой, а другие ходят где хотят?», «Почему нас убивают?», «Почему нам все нельзя…». И взрослый горький ответ всегда был один: «Потому, что мы евреи». Я постичь этого не мог тогда… как не понимаю и сейчас!

Накануне третьей «акции» я лишился мамы. Она ушла

в поисках еды и как будто чувствовала, что может не вернуться. Слезы были в ее глазах, когда она обнимала меня. Мы с отцом прождали ее всю ночь, а наутро узнали, что наша мама этой ночью умирала в тюрьме раненная в живот, она очень беспокоилась обо мне. Кто-то из знакомых украинцев отцу рассказал: темнело, когда она возвращалась в гетто, ее окликнул полицай и выстрелил ей в живот, а потом ее доставили в тюрьму. Моей маме было 40 лет. Ее звали Пепа Гехт.

Самой страшной была третья «акция» – февраль 43-го. Насколько потом стало известно из документов, планировалось уничтожить всех евреев и объявить городок «юденфрай» – свободным от евреев. Стариков стреляли на месте – они не могли подняться на гору Федор, где на склоне к реке Скрыпа шел расстрел. Даже «юденрат» – администрация гетто была расстреляна… уже за ненадобностью. Нам удалось спастись в схроне под лестницей, его мы несколько ночей копали лежа, и землю ползком выносили. Люди лежали плотно друг к другу в кромешной тьме, как в могиле. Набралось человек 20 или больше. Над нами топали сапоги, немецкая и украинская ругань, выстрелы. Не знаю, как я не сошел с ума в ожидании смерти, я просто умирал…

После «акции» для оставшихся в живых евреев мужчин был организован рабочий лагерь, куда и мы с отцом попали. Как ему удалось меня, ребенка, с собой оставить, не знаю. Таких, как я, больше не было. Наверное, помог его хороший немецкий, в молодости он служил в австро-венгерской армии. На работу мы ходили вместе. Лагерь был на Подгаецкой улице. Под конвоем мы ходили в каньон на заготовку щебня и гравия. Работа была изнурительная, нормы высокие, кормили баландой. Отец работал тяжелой кувалдой, и я ему помогал – таскал куски щебня в кучу. У каждого была сложена своя пирамида. В конце дня приходил немец, замерял выработку и обливал ее раствором извести, чтобы назавтра из этой кучи никто не мог взять в счет новой нормы.

* * *

Перед ликвидацией лагеря в начале лета 43-го мы ночью бежали. Была сильная гроза, и гром, помню, гремел. Сколько всего нас было, не знаю, оказавшись за колючей проволокой, все разбежались в разные стороны. Мы с отцом несколько дней скитались, а потом нас спрятали у себя молодые поляки. То ли это были мамины ученики, то ли папины сослуживцы, к нам они относились как добрые знакомые. Но нас случайно обнаружили

их родственники, и, чтобы не подвергать риску ни хозяев, ни себя, нам пришлось уйти в никуда. Доносы поощрялись, и полицаи открывали охоту на евреев. Где мы только не прятались – в оврагах, в лесах, в посевах ржи и пшеницы, где можно было жевать недозревшие колоски. Без еды и воды. Я терял сознание от голода, слизывал росу с листьев. Помню, однажды ночью отец принес несколько штук черной редьки, буханку хлеба, с пяток яиц и воды две бутылки. Это богатство мы растянули, кажется, на две недели…

Когда пришла осень, дожди, лес оголился, зерно и овощи с полей убрали, прятаться стало сложнее. В октябре 43-го мы с отцом ночью пришли на хутор к знакомым, где год назад уже прятались во время «акции». На этом хуторе пряталась моя бабушка Роза, а с ней тетя Маля с дочкой трех лет. Их туда на возу под соломой вывез ночью из Бучача Михаил Иванович Луцив к своей сестре Варваре. Варвару Заривну отец знал давно, когда-то в мирной жизни он помог их семье, и теперь они в благодарность прятали нас. В сарае над коровой был сделан двойной потолок, набитый соломой. Там мы лежали в темноте, разговаривали больше жестами. Ночью спускались и ели раз в сутки – суп или борщ или картошку с маленьким кусочком хлеба. Несколько раз в морозы нас забирали на ночь в хату. Нервы у нас были уже на пределе. Мы понимали, что немцы отступают, в щели сарая видно было шоссе, а на востоке слышна канонада. И в тот роковой день 18 февраля 44-го, видимо, уже расслабились. Отец с тетей Малей и девочкой были в сарае внизу, а я с бабушкой в хате. Вдруг шум и крики, украинская речь во дворе. Мы с бабушкой быстро поднялись из сеней на чердак дома и, прихватив лестницу, укрылись соломой. Хозяев не было. Отец и тетя с дочкой на руках побежали с хутора. Но что они могли против вооруженных отступающих карателей?! Их убили на наших глазах. На глазах бабушки погибли ее дочь и внучка. Ночью там же, в поле, мы их похоронили. А через 6 дней пришла Красная Армия!

* * *

Первая оккупация длилась 32 месяца. В памяти возвращение в Бучач – на месте родительского дома пепелище. Бабушкин дом цел, но там давно живут чужие люди. Мы нашли полуразрушенный дом без стекол. Окна завесили тряпками. Спали на тряпье, на железной кровати, которую принесли из школы, где размещался немецкий госпиталь. Помню бабушку,

совершенно надломленную. В свои 63 года это была глубокая старуха в изношенной одежде, с глазами, полными отчаяния. Эти глаза всегда передо мной! Три ее молодые дочери погибли со своими детьми. Из нашей родни мы никого не нашли. Всех уничтожили…

А немцы скоро снова пришли, и я с бабушкой отступал на восток вместе с нашей армией. Помню воздушный бой над нами. Дорога была не просто тяжелой, в распутицу для бабушки она оказалась невыносимой. Бабушка Роза села на землю и приказала мне: «Иди один, хоть ты спасешься». И я пошел один. Дорога эта – память на всю жизнь! Военная техника буксует, лошади вязнут, люди выбиваются из сил…

Наконец мы пришли в город Чертков. На следующий день пришла моя бабушка с синими распухшими ногами. Но надо было идти дальше, в Скалат, потому что немцы опять стали наступать и началась паника…

В Скалате мне пришлось попрошайничать, чтобы выжить. Военные не скупились. Нас было много, маленьких попрошаек. И мы сообразили, что фронтовой госпиталь – это наш шанс выиграть борьбу с голодом. Полевая кухня была огорожена, но запахи… Ах, эти запахи! К концу раздачи вся ребятня ложилась вдоль ограды и просовывала под нее пустые консервные банки. Если что-то оставалось, то солдат-повар ходил с черпаком и нам разливал, а мы бежали к своим родным, чтобы вместе поесть.

* * *

И вот однажды мне кто-то, наверное, свыше послал встречу с лейтенантом медслужбы. Его звали Лимарь Павел Лаврентьевич. Он посмотрел на меня и вынес дневную солдатскую порцию – граммов 600 черного хлеба, посыпанного настоящим сахаром! Я немедленно съел и на него посмотрел. Он сказал, что мне больше нельзя, а то умру. Раненые бойцы меня так жалостливо рассматривали. Я был худой, забитый оборванец, завшивленный, в ботинках разного цвета и размера, да еще на одну ногу А чтобы ботинки не потерялись, надо было их подвязывать тряпками. Расспросил лейтенант про мою судьбу, сказал «жди» и пошел к начальнику госпиталя…

Так я стал сыном полка фронтового полевого госпиталя (ГЛР-3424) 3-й Гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта, где командармом был знаменитый Павел Семенович Рыбалко. Конечно, я прошел через санпропускник, мою грязную

вшивую одежду сожгли. Медсестры перешили на меня солдатские брюки и гимнастерку. Пополам разрезали одну солдатскую обмотку и одну портянку, получился детский комплект. Небольшие ботинки нашлись и маленькая пилотка. Меня стало не узнать!

По указанию начальника госпиталя мне определили обязанности связного и посыльного, я находился в распоряжении дежурного по госпиталю и выполнял его поручения. И в самодеятельность позвали – я был в 4-м ряду в «пирамиде» на самом верху, как самый легкий. Конечно, я помогал санитаркам и медсестрам ухаживать за ранеными танкистами. Любая пара рук, даже детских, была нужна! Я видел, как беспомощны обгоревшие танкисты, многие говорить не могли, надо было догадываться, что им нужно. Я дежурил возле них, поил и кормил с ложки, помогал с туалетом, водил тех, у кого забинтованы глаза. Потом их отправляли в тыловой госпиталь, и поступали новые раненые, некоторые из них умирали на моих глазах. В большой хирургической палатке оперировали круглосуточно…

Мои милые фронтовые медики, я вас по-прежнему очень люблю, хотя вас уже нет на свете! Я так старался вам подражать, ложился спать не раздеваясь, готовый спешить на ваш зов когда угодно! И вы это про меня знали…

* * *

С бабушкой я простился, оставив ее в Скалате, как выяснилось, навсегда. Так и живу с чувством вины перед ней. Линия фронта двигалась на запад, а мы всегда шли за фронтом, и наш госпиталь постоянно менял дислокацию.

В августе 44-го, когда 3-я Гвардейская уже освобождала Польшу, меня решили отправить в тыл, в Суворовское училище. Мне объяснили, что всех воспитанников из армии посылают учиться. Я был почти неграмотным, два класса школы. Медсестра Лида Дрянова, бывшая учительница, меня проверила и сказала: «Ты должен быть уже в 5-м классе, но учиться не сможешь, поэтому запомни, тебе не 13, а 10 лет, ты так выглядишь». Мне выдали справку, смену белья, продуктовый аттестат и 17 рублей – оклад и полевые. В Суворовское меня не приняли, они все были переполнены и в Ставрополе, и в Харькове, и в Курске, и в Туле, и в Москве. Долго я колесил на товарняках. В пути ко мне присоединился еще один сын полка Валера, а потом еще один – мальчишка из белорусских партизан. Увы,

мест свободных для нас так и не нашлось. Дело кончилось детдомом в подмосковных Химках. Но эти трудности и много других – ничто по сравнению со всем ужасом моего военного детства. К сожалению, та «жизнь» не отпускает до конца. Ни любимая работа после окончания Бауманки, ни семейная жизнь – ничто не может отвлечь от присутствия пережитого!

PS. Чрезвычайная комиссия в актах по расследованию злодеяний фашистов в г. Бучаче и его окрестностях приводит факт – уничтожено и закопано в рвах-могилах 13 670 евреев. В трех местах их массовых казней 14 братских могил. В г. Белжец на уничтожение было вывезено 3100 евреев.

Элина Быстрицкая, народная артистка СССР

Фрагмент интервью

…Детство мое кончилось, когда началась война! Я сразу стала взрослой в 13 лет. Почему? Потому что надо было работать, как взрослой. И кроме работы, я ничего не знала и не помню ничего другого…

* * *

Мы жили в Киеве. Незадолго до начала войны папа получил назначение в город Нежин на Черниговщину. Он был врачом-инфекционистом. А когда началась война и у нас появились первые раненые, я пошла к комиссару госпиталя проситься на работу. Он спросил: «Что ты умеешь?» Я сказала: «Для фронта все, что нужно!» Я начинала с того, что читала раненым газеты, письма, книжки, а потом делала буквально все, что просили. И кровь сдавала, когда было нужно, у меня 1-я группа крови. Но это было позже…

* * *

Помню один налет, когда мой двоюродный брат Миша, который тоже был с нами в поезде, придумал захватить зеленое одеяло для маскировки. Это когда раздалась команда «покинуть эшелон!», то есть всем разбежаться по степи, укрыться от налета. Мише, как и мне, было 13 – совсем мальчишка, – и это было начало войны, осень 41-го.

Случай с зеленым «маскировочным» одеялом помню до сих пор. И смеюсь, хотя тогда было не до смеха…

После того налета у нас были большие потери. Погибло 25 человек личного состава, и наш передвижной сортировочный эвакогоспиталь отправили на переформирование. Это был мой первый эвакогоспиталь за номером 1954. Память не дает забыть эти цифры, притом что столько лет прошло…

В 37-м году в нашей семье родилась Соня, моя сестричка. И когда началась война, ей было всего *4* года! И что нам было делать? Мы решили взять ее с собой и спрятать! Не в детский же дом отдавать! И мы ее прятали, работали с мамой в разные

смены, в общем, очень непросто было…

* * *

Второй мой эвакогоспиталь, тоже передвижной сортировочный, был под номером 3261. Помню и номер полевой почты – 15 938. Но я туда пришла после курсов медсестер, хотя числилась санитаркой, потому что мала была. Я там еще изучила работу лаборантки. Но если не было моей лаборантской работы, я ездила за ранеными как сопровождающая и делала абсолютно все, что попросят. Так же работала и моя мама! Отца с нами уже не было. Зимой 42-го он получил новое назначение куда-то под Сталинград. Мы долго не имели от него вестей и, конечно, их очень ждали.

А уже началось наступление, и госпиталь наш стал передвигаться на запад. Значит, это был 43-й год. Не помню, какое было время года. Я тогда не замечала времени и не думала, который час, который месяц. Мне не надо этого было, мне надо было выстоять!.. И вот в тот самый период я на каком-то полустанке увидела прямо перед собой большой пульмановский почтовый вагон в который попал снаряд. Я смотрела, как ветер выдувает из него пачки белых треугольников, и они летят, летят и ложатся на черную-черную выгоревшую степь. Я стояла и думала, что вот, может быть, так же пропала где-то весточка от моего папы, который к тому времени уже считался пропавшим без вести.

Вот этот почтовый вагон никуда не уходит из памяти…

Моя война кончилась раньше – в ноябре 44-го. Госпиталь наш был в то время в Одессе и должен был отправиться дальше на запад. Меня уже не могли туда взять и отправили учиться. И тогда мы с мамой и сестренкой поехали в Нежин, туда, где нас застала война…

Вступительные экзамены я могла не сдавать как участница войны. А поскольку учебный год уже начался, я пришла сразу на второй семестр медицинского техникума и окончила его, как этого хотел отец. Получила диплом с отличием – фельдшер-акушер. Но после того как во время хирургической практики на моих глазах умер от наркоза больной, я поняла: это не мое, я не готова к такой колоссальной ответственности. Да, смерть на фронте можно объяснить, но война закончилась. Я вдруг поняла, что не могу стать полноценным медиком! Потому что я так настрадалась, что больше не могла выносить боли и горя…

И несмотря на то что у нас в доме давно было решено, что я

должна быть врачом, я все-таки выбрала свой путь!..

Из письма З. С. Кузнецовой (г. Тула)

Моя крепкая детская память столько всего сохранила, что даже не знаю с чего начать! Мне было 5 лет, когда началась война.

Я родилась и жила в Калужской области. (Сейчас живу в Туле.) Первое, что запомнила, – бледное лицо отца, стоящего у радио. У нас была «черная тарелка». Он подошел к бабушке и как-то горько сказал: «Мама, началась война!» И через несколько дней его с нами уже не было. Мы остались одни – мама, бабушка и нас двое детей. А спустя 3 месяца в октябре 41-го у нас в семье родился третий. Это был день, когда от бомбежки горел наш город, и мы не знали, увидим ли свою мать. Она прибежала к нам из роддома в тапочках и халате с живым свертком в руках, за 6 километров от дома. А мы с бабушкой сидели и плакали…

Помню, что наш город и село часто бомбили, и мы бегали в окопы, и мама с младенцем на руках.

* * *

Потом в наше пригородное село приехали беженцы из Смоленска и их стали разбирать по домам. Мама пришла и сказала бабушке, что осталась женщина с двумя девочками, давай их возьмем. Так в нашем доме появились еще три человека. И мы стали жить одной семьей – 8 человек! Собирали гнилую картошку, колоски, грибы. И одной семьей бегали от бомбежек. С ними мы прожили 3 года, а потом они вернулись к себе в освобожденный Смоленск. Девочки выросли, одна стала заслуженным врачом, другая – библиотекарем.

* * *

О маме! Разве наша мать не работала на Победу? Она мало бывала дома. Приходила усталая и холодная. Она была на всех незаменимых работах. А ночами шила и вязала нам вещи. И не было у нас украшенных варежек и носочков, потому что некогда ей было расшивать и обвязывать. Нашим кормильцем в войну стала мама. А растила нас – мыла, кормила, била, заставляла работать по дому – наша бабушка. Между собой мы ее иногда называли «бабка» или «карга», от детского непослушания.

А кем бы мы стали без нее?! Оценили ее роль мы гораздо позже, прости нас, бабушка…

А сколько через нас прошло войск! Я могу так много и долго о них рассказывать. Я помню их всех! И Сашу из Куйбышева, который смеялся, держа меня на коленях: «Эх, хороша девка, война кончится, приеду и женюсь». Его убили. И капитана с бородкой, который постриг меня «по-городскому» и стрелял из пистолета по немецкому самолету, когда над нами шел воздушный бой. И тех солдат помню, которые кормили нас сухарями и сахаром, а мы ведь пили чай с солью. Постоянно голодные, мы воровали по-детству из бабкиных запасов. Это – «энзе», она нам объясняла. А бабка ни одного солдата не пропустила не обогрев! Кому портянки, кому варежки, кому шапку, кому две вареные картошки, кому супу нальет, и приговаривала: «Может, и моему сыночку кто поможет…»

* * *

Я помню, как на картофельное поле однажды упал наш подбитый самолет. Он перевернулся вниз кабиной, и женщины бежали к нему и руками разгребали землю, чтобы спасти летчика. Он был живой. Потом женщины его чем-то лечили, потом он чинил самолет, и мы пели с ним песни, носили ему молоко, а он давал нам от самолета фольгу для новогодних украшений. А потом он улетел, покружился над нами, покачал крыльями и улетел. Звали его Борис, теперь так зовут моего сына…

* * *

Еще помню, как расстреливали дезертира за самострел в руку. Мы прознали об этом и подползли по овсу на то место посмотреть. Он поднял голову к небу, посмотрел вокруг и, увидев нас, помахал рукой. Солдаты обернулись и закричали на нас, мы убежали. После выстрелов за спиной мы все попадали. Бедный, бедный…

* * *

А еще хорошо помню, что в нашей школе жили летчики-французы, недалеко от нас был аэродром. Мы ходили к ним в гости, и они тоже кормили нас. Все были веселые, красивые – в белых кителях и белых перчатках. От них мы узнали, что такое консервы! После войны я прочитала, что у нас останавливалась знаменитая эскадрилья «Нормандия – Неман».

* * *

И немцев помню! Правда, стояли они у нас недолго, но были всякие. Читали на стене наши газеты и хохотали, потому что стены нашей избы были оклеены газетами. Брали все, что им понравится, чуть не убили мать нашей учительницы. А ходил с ними и отбирал все, что хотел, предатель Афоня, который ушел вместе с ними при отступлении.

Помню, как отряд татар пошел к немцам сдаваться. Наша бабушка их отговаривала, а они сказали, что войну наши проиграли, и все равно ушли…

А как радовались наши женщины, когда началось наступление наших войск! Они говорили: «Слава Богу, идут сибиряки, они дадут им жару!» И правда, помню этих здоровых

красивых парней в валенках и овчинных полушубках. Пришли они смелые, сильные и погнали немцев…

* * *

При воспоминании о войне оживает мое постоянное чувство голода. Вместо школы война. А наше детство – сплошной страх, тревога и, конечно, голод, который ведь и после войны не закончился. Помню, в 47-м страшно голодали, ели траву и лепешки из липовых листьев, да еще корова у нас пала, но люди приносили нам молоко, говорили – детям. Отец вернулся только в 46-м, его задержали на восстановлении Ленинграда. К нам приехал совсем незнакомый военный.

Помню, однажды он лежал, а я думала, что спит. И я тихонько крадусь на цыпочках отломить хлебца, добралась до него, оглянулась – не видит ли, а он смотрит на меня, и у него по щекам текут слезы…

А потом он пошел работать на комбайн и заработал много зерна. Вот тут-то мы и наелись пшеничного хлеба! Я до сих пор обожаю белый хлеб, покупаю всегда разный и люблю, чтобы дома было много хлеба…

* * *

Не буду больше отнимать у вас время. Ну какие мы участники Победы! Мы были просто заложники войны.

Учительница

З. С. Кузнецова.

Завтра, 9 Мая,

поздравляю всех!

Евгений Леонов, народный артист СССР

Фрагмент интервью, записанного незадолго до того, как Евгений Павлович от нас ушел

…Ну, воспоминания, как озарения, на всю жизнь со мной.

Я рос, как и все, тяжело и бедновато. Так сложилась жизнь, что война, я только что закончил седьмой класс. Мне 14 лет. Помню, как в школьном драмкружке участвовал, с приклеенными усами всех смешил. И все меня называли артистом. А я тогда и не думал даже всерьез об актерской профессии. В то время героями были Чкалов, Байдуков, Беляков. И мы с братом мечтали о самолетах. Это папа нам много рассказывал о конструкторах, о самолетах – он работал на авиационном заводе инженером. Отца звали Павел Васильевич.

Ну а потом волей судьбы – немцы под Москвой, паника. Вот это 16 октября 41-го, когда Москва вся устремилась на вокзалы[5].

* * *

Помню, уже нечего было есть. Мы – мама, брат и я – все поступили на папин завод и получили рабочие карточки. Это по 400 граммов хлеба. Мама табельщицей. Старший брат копировальщиком. А я пошел в УПК (учебно-производственный комбинат) и через два месяца токарем стал. Голодное время нашу семью как-то особенно сблизило. Хотя у нас всегда дом был хороший. Родители давно умерли. Но в душе они со мной, конечно. Я очень любил папу. Но боготворил маму. Простая семья, простая русская женщина, может быть, не очень образованная мама была, время ей досталось такое… А отец стал еще «почетным донором СССР», много крови сдал…

Ну вот! В памяти – на заводе ночная смена, я все время тыкаюсь головой в крутящийся барабан на этом станке. «Т-109», что ли, он назывался. Под ногами ящик – для роста. Однажды я шайбы точил и сумел забить станок стружкой. Попробовал сам справиться – не вышло, пришлось мастера звать. Мастер пришел: «Да ты что, ненормальный!» Взял кувалду, как долбанул и совсем забил станок. Разозлился на меня, на себя, потом как дал мне под зад ногой…

В общем, пришлось мой станок разбирать. Так что всякое бывало! Но работали мы, мальчишки, на совесть, изо всех наших физических сил!

* * *

Помню, как мама мне, младшему сыну, все кусочек какой-нибудь подсовывала по ночам. Жалела меня. А брат Николай относился потом уже к ИТР (инженерно-технические работники). Мама все говорила: «Нет-нет, мне не хочется есть!» Ей, знаете, как-то все время не хотелось есть, и я верил ей!

Наш дом хорошо помню. В то время через него проходили разные люди – пригретые родственники, и близкие, и дальние. Беженцев ведь тогда было много! Все спали вповалку. И мама – русское лицо, обаятельное, мягкое. Так она любила нас, что она самая большая страна моя, понимаете, она для меня самое большое на свете! Анна Ильинична ее звали.

* * *

Помню, еще война не закончилась, нас, мальчишек, послали учиться как стахановцев в авиационный техникум. Приняли сразу на третий курс. Я учился и понимал, что это не мое дело. А вот брат потом инженером стал. Я в самодеятельности, конечно, играл. Читал Зощенко, Чехова. И был очень популярным в своем техникуме! А потом уже стали возвращаться театры из эвакуации, хотя война еще продолжалась. Помню МХАТ, «Три сестры» – на сцене березки, красивые миниатюрные женщины с красивыми голосами куда-то хотят уехать, в Москву уехать… Оркестр, красивая военная музыка…

И так я плакал, сидя на ступеньках МХАТа, что уже окончательно стало понятно, что я просто должен стать актером!..

Братья Леоновы с мамой. Жене (справа) 5 лет, Коле – 7 лет.

P.S.

Эта пленка в моем архиве – единственная, записанная не мной. Она досталась мне в подарок. Вот ее история.

17 октября 1994 года в редакции «МК» при вскрытии кейса, в котором вместо долгожданных документов о тайнах армейского

бизнеса оказалась взрывчатка, погиб военный корреспондент Дима Холодов. Диме было 27 лет. Он успел в своей короткой жизни стать инженером-электронщиком, закончив с отличием МИФИ, а до этого послужить в морской пехоте, подготовить к печати книжку собственных сказок, написать десятки военных репортажей из всех «горячих точек» страны. (Собственно, вся наша страна в 90-е была «горячей точкой».) А главное – успел написать несколько разоблачительных статей о коррупции в армии. Вот за это Диму и взорвали. «Близко подошел» – говорят в таких случаях журналисты. Помню, ощущение было такое, будто взорвали всех нас! Подло и цинично… оттого, что не на войне!

Именно Дима записал эту пленку. Видимо, подустав от военной темы, его потянуло к светлому человеку и всеобщему любимцу Евгению Леонову. Его действительно было о чем поспрашивать, я знаю…

А дальше эту аудиокассету мне передал Юрий Викторович Холодов, отец Димы. После нашей беседы в подмосковном Климовске, Димином доме, я спросила – не осталось ли пленки с голосом Димы мне для радио – хорошо бы в передаче о нем люди услышали его голос. И мама, и отец только руками развели – «ничего нет». Но выход нашелся – в маленькой коробке оказалось с десяток кассет – Димины рабочие записи. Немного. Похоже, он писал и стирал, и снова писал на одних и тех же, да и голова электронщика – это память особая.

Вот его голос интервьюера и прозвучал в радиопередаче. А когда я после эфира хотела вернуть пленку, Юрий Викторович пожелал – пусть останется вам на память. Спустя 20 лет, архив заговорил! Пользуясь случаем, говорю спасибо брату великого артиста, Николаю Павловичу Леонову за предоставление скромной уцелевшей фотографии из детства.

И еще! Для нового читателя, задавшегося естественным вопросом о наказании за преступление, отвечаю – следствие проиграло сражение. Так бывает при необъявленной войне, которая опаснее даже не тем, что у нее нет правил, а тем, что она убивает высший смысл в Человеке, то, что больше жизни – долг, мораль, веру в добро и свет!

Надежда Иванова, слесарь-инструментальщик

До войны у нас была большая семья – мама, папа, бабуля и нас три девочки-школьницы. Жили мы в Выборгском районе Ленинграда, раньше он назывался Сталинским. Помню наш адрес – «Дорога в Гражданку» – именно так, дом 24, квартира 2. Мы жили в двухэтажном деревянном доме. И школа, и все дома вокруг были деревянными и красивыми, как мне тогда казалось. Каменными были только пожарка и магазин, где продавали керосин.

Мне было 10 лет, когда началась война, сестре Тоне 12 лет, а старшей, Вале – 15. Папа, наш единственный мужчина и кормилец, заболел перед самой войной и умер в 33 года. Стала мама нашим кормильцем.

* * *

И вот первый знак войны: рядом с нами жила семья финнов, где были тоже три девочки, наши подружки – Гетта, Кристина и Тина. Неожиданно в одну ночь они исчезли. Куда увезли их, мы так и не узнали. И напротив тоже жила семья немцев, там были дети, и мы все дружили. И их куда-то увезли. Двор наш опустел. А в нашей школе сделали госпиталь, и учиться 1 сентября мы уже не пошли. Все изменилось, начиная с того, что если раньше мимо нашего дома ходил и звенел трамвай, то теперь мы ходили пешком на любые расстояния…

Однажды наша мама Александра Макаровна пришла с завода, где она красила вагоны, и сказала, что завод отправляет в эвакуацию только одних детей. Были уже готовы в дорогу наши вещи, помню в моей наволочке лежало белье и баранки на дорогу. И тут из-под Лигова появились беженцы – наша тетя, папина сестра с мужем и дочкой. Мама послушала их и вдруг взбунтовалась – не пущу одних детей! Бабушка тоже сказала – пусть с нами остаются. И мы остались.

А в ноябре 41-го во время бомбежки погибла наша бабуля. Отвезли мы ее на Богословское кладбище. Ох, и сильными были бомбежки, говорили, что бьют дальнобойными, часто объявляли тревоги.

В 42-м мы потеряли сразу двоих. Друг за другом умерла наша тетя, оставив девочку, и моя сестра Тонечка. Лежат они

в братской могиле на Пискаревке, от которой мы тогда жили недалеко…

* * *

Хорошо помню, как меня снаряжали за хлебом, укутывали во все теплое и карточки надежно прятали, чтобы я их, не дай Бог, не потеряла. Я по своей детской карточке получала 125 граммов хлеба – это на целый день, столько же – Валя и мамина рабочая карточка – 250 граммов. Кроме хлеба, у нас давно ничего не было.

На завод наша мама уже ходить не могла от полного истощения, она вообще перестала ходить, бредила, никого не узнавала и 6 мая 42-го года она умерла. Остались мы с Валей вдвоем. Тогда жилищные конторы похоронными делами занимались. Но мы с Валей сами решили отвезти маму на тележке к папиной могиле на Богословское кладбище, песчаное, хорошее. Пришлось отдать мамины карточки и мои детские за то, чтобы маму закопали рядом с папой. Я запомнила – там большая береза стояла с отстреленной макушкой, и мы ее пометили еще зеленой краской…

Тетину девочку забрали в детский дом, потому что ее отец был на фронте. А Валю приняли на военный завод, ей исполнилось 16 лет, и выдали рабочие карточки. Не помню точно, но уже побольше, чем 250 граммов хлеба. Валя не хотела меня оставлять одну дома, тогда работа на военном заводе приравнивалась к армейской службе. И мы с Валей пошли в соседний детский дом, который готовился к эвакуации. Открылась ледовая «Дорога жизни» по Ладоге, и вышел приказ – детдома эвакуировать. В детдоме оказались наши учителя, и меня хорошо приняли. Там все же кормили, глюкозу давали, и у нас были силы ходить. Я и Вале кусочки глюкозы откладывала. Кроме нее, никого у меня ведь больше не осталось. Первые три партии детей я помогала собирать, потом пришла моя очередь. Помню, как приехали к нам бойцы из госпиталя и устроили на прощание концерт, даже песню одну запомнила – «так будьте здоровы, живите богато…». Валя прибежала ко мне попрощаться и принесла мне мою цветную шляпку с ленточками. Потом были автобусы, Ладога и поезд. Я всю дорогу ревела, а Зинаида Васильевна и Галина Градова меня успокаивали.

* * *

В дороге давали американскую тушенку, а на больших станциях кормили горячим – водили в столовую. Потом вот что случилось: перед нами разбомбили другой детский эшелон, и нас загнали в железнодорожный тупик. Несколько дней нас не выпускали из вагонов…

* * *

Долго мы ехали, с 15 июня до начала июля. Привезли нас в Горький (теперь Нижний Новгород), в Пильнинский район, в детский дом № 1. Сначала мы учились. А на следующий год зимой нас несколько человек везли в санях, в каких-то больших шубах в Горький. Привезли в старинный особняк, помню кроватки с никелированными спинками. Помню воспитательницу, которая учила вышивать. Я и там ревела много по-прежнему. Мы везде ходили строем и назывались уже воспитанниками ремесленного училища. Выдали нам маленькие бушлаты и ботинки – тепло было. Помощник мастера обучал нас слесарному делу. Мы делали лопаты для фронта. Нам давали железные заготовки. Инструменты у нас были самые простые: молоток, зубило, напильник и сверло, чтобы делать дырочку для гвоздя. Руки у нас

были сбиты, все в болячках.

Почему-то запомнила, как нас водили на экскурсию к мальчикам в татарскую группу слесарей смотреть, как они работают…

* * *

Помню, как однажды нас повели в столовую через дорогу, а мимо нас проехали сани, высоко нагруженные умершими людьми в разной гражданской одежде. Сани были не закрыты, только перевязаны, а за санями по снегу тащились распущенные женские волосы с запрокинутой головы. В столовой никто не мог есть. Помощник мастера отругал нас, но мы, ленинградцы, категорически заявили, что отказываемся от еды. Тогда он каждого из нас насильно заставил есть. Ну, мы кое-как поели…

Летом все ходили за ягодами – это была моя единственная радость. А после снятия блокады приказ – всех детей вернуть в Ленинград. Привезли нас летом 44-го. Мы прошли распределитель, и отправили нас в другое ремесленное училище № 39, рядом с Сытным рынком. Выпустили досрочно через два месяца слесарями-инструментальщиками 4-го разряда и направили на завод «Пневматика» на Васильевском острове. Потом я стала еще сверловщицей, стволы для шахтеров делали…

* * *

Мне хотелось учиться, но война не дала. Мы-то думали, что когда вернемся из эвакуации домой, пойдем в школу. Своего дома я уже не нашла, от него одна арка осталась. А мы с Валей долго искали друг друга, прежде чем нашли. От всей большой семьи нас осталось двое…

P.S.

Смотрю на нее не отрываясь, сидит прямая – возраст не согнул, лицо без глубоких морщин, светлое и спокойное, как у святой. Смотрю, окаменев от ее невозможной простоты повествования. («Нет повести печальнее на свете…») Она меня не видит – ослепла. Теперь ее глаза – глаза внука, на попечении которого и дед обезноженный. Управляется, урокам не во вред. «Ничего, – говорит она, – я же знаю квартиру на ощупь». Так и хочется поставить восклицательный знак, но не могу – будет неправдой. Речь ее ровная, исключительно простая

повествовательная. Она и сама как повесть. Повесть – о Времени!

Афанасий Мунхалов, народный художник России и Республики Саха (Якутия)

Я родился далеко от войны, на востоке Якутии в Чурапчинском улусе, но именно война сломала мое детство и сделала круглым сиротой…

Родители мои были колхозниками. Наш колхоз назывался «Красный хребет». По традиции якуты – скотоводы и земледельцы, ну и зимой, конечно, охота для пропитания семьи. Вот почему многие якуты в войну служили снайперами в лыжных батальонах.

* * *

В июне 41-го мне было 6 лет. У меня были еще две старшие сестры, Ольга и Марфа, и брат Егор, которого я почти не помню, он умер, когда я был маленьким. Ольга перед самой войной вышла замуж и уехала в другой колхоз, но ее мужа сразу призвали в армию…

Родители наши внешне были очень разные. Я больше помню маму – маленькую, черноволосую, очень энергичную. А отец посветлее, высокий и спокойный. Якуты вообще народ спокойный, терпеливый.

В 41-м осенью наш отец сильно надорвался и как-то очень быстро умер. Ведь мужчин в колхозе почти не осталось, и работать приходилось за тех, кто ушел на фронт. А что такое потеря кормильца в крестьянской семье, думаю, легко понять…

В 42-м пришла совсем большая беда. Государственный Комитет Обороны вместе с Якутским обкомом партии вынесли постановление – переселить 40 наших колхозов в устье реки Лены. Это Приполярье. Цель – рыбодобыча для фронта. Этот насильственный переезд, по сути депортация, убил нашу семью окончательно. И не только мою…

Никто нас не спрашивал, хотим мы этого или нет. Ослушаться было нельзя. Могли арестовать и посадить. Да и кому было сопротивляться? После того как призвали в армию молодых и крепких мужчин, в колхозах оставались в основном старики, женщины, юнцы и дети. Этот насильственный переезд вошел в историю Якутии самой черной страницей. Волей судьбы я стал

свидетелем той Чурапчинской трагедии. Больше пяти тысяч переселенцев отправили на далекий Север, и больше половины из них умерли в первую же зиму. По статистике, только через полвека в моей Чурапче население вернулось к довоенной цифре. И не так давно мы узнали, что военные потери якутов куда меньше, чем мирные за тот же период…

* * *

Помню, как сначала увели наших двух коров со двора, потом мелкую живность – у нас были куры. Нам не велено было скот с собой брать. Частный и колхозный скот угнали в те хозяйства, которые оставались. А нас поголовно переселяли с юга на север – в Кобяйский, Жиганский и Булунский районы, где мы, традиционно скотоводы и земледельцы, должны были заняться незнакомым ремеслом – добычей рыбы. К нам съехалось много милиции. На сборы дали времени мало. Разрешили брать только личные вещи. Свое нажитое имущество семьи сносили в амбары. Уполномоченные говорили: «Это ненадолго, приедете и заберете, не нагружайте свои телеги». Кстати, телег не хватало, как и лошадей, которых тоже призвали на фронт. Запрягли коров, а телеги строили сами. Я тоже ехал на такой, но иногда шел вместе со взрослыми, потому что не хватало места и для малых детей, и больных стариков. Якуты – народ работящий, и телеги придумали строить полностью из дерева. Где взять колеса? Колес нет и взять негде. Поэтому бревна распиливали на кольца и получали «колеса». Потом пробивали в середине отверстие, куда вставлялась жердь вместо оси. Казалось, делали просто невозможное! Повозки получались длинные, надо ведь и скарб уложить. По-моему 16 килограммов на семью разрешалось. Помню, мама с сестренкой собирали посуду, самовар…

До берега Лены шли мы и ехали несколько дней, спали под открытым небом, а был сентябрь. Наши деревянные колеса горели от трения, приходилось жерди смазывать навозом. А когда навоза не хватало, смазывали тем, чем люди опорожнялись. Дома нам говорили: «Торопитесь, вас ждут пароходы, по Лене поплывете на Север, а там вас и встретят, и научат…»

* * *

Добрались мы до Лены, пароходов нет, барж нет и палаток тоже нет. Опять под открытым небом, в тальнике на берегу

устраивались, как могли, и ждали кто неделю, а кто месяц, пока всех не перевезут. Начались холода, дожди, люди простужались, и несколько человек умерло еще на берегу. Ну здесь же и хоронили. Стали понемногу резать скот, который нас привез, хотя резать было запрещено. Говорили о какой-то эпидемии…

Помню, мы с мамой и сестрой Марфой плыли на открытой барже с той скотиной, которую распрягли. На берегу много народу оставалось. Кто-то с хворью поехал дальше и умер в дороге. Плыли долго, наверное, с полмесяца. На берег сошли в октябре, получилось в зиму приехали. Выгрузили нас на пустой берег Лены, не доезжая Быкова мыса, за которым уже море Лаптевых.

* * *

Оказались опять под открытым небом среди тальников. Приполярье. Никакого жилья! Никто нас не ждал, даже снастей для рыбной ловли у нас не было. После долгой дороги малые и старые, как самые слабые, поумирали. Так что «новоселье» началось с похорон. Кто был на ногах, стали строиться. Пилы и топоры люди, конечно, взяли. А кому строить-то? Женщины да подростки юрты ставили. В каждой юрте по *4* семьи – нары по кругу, ближе к входу очаг. И мама с сестрой тоже строили. Нам обещали: «Дома вам приготовлены, рыбы полно, зайцев так много, что хоть палкой бей». Этих бедных зайцев я так ни разу и не увидел. Помню, сестра Марфа ходила на подледный лов – молодок ставили пробивать толстый лед, метра в два. Пришли морозы. Люди стали сильно умирать от голода. Добытую рыбу всю надо было строго сдавать. Если норму не выполнил – муки не дадут. А какая скотина пала, так хорошо – бригадир накормит своих работников, чтобы могли шевелиться. На работу потом ходили единицы, нормы им какие-то высокие определили. Люди, помню, лежали, двигаться уже многие не могли от голода. Все, что из кожи – съедали. Помню, для тепла в юрте на двери кожу коровью натягивали, так от нее по кусочку отрезали и ели. Когда над огнем ее подержишь, она пахнет вкусно и хрустит, а по-другому ее не съешь – твердая, сухая, жесткая…

Недалеко от нас жили ссыльные из Прибалтики, но они нашего языка не знали, мы – их языка, поэтому выживали самостоятельно. Однако плохо выживали – и те, и другие своих умерших складывали прямо возле юрты и снегом присыпали. Кому могилы копать? Голодным не сладить с вечной мерзлотой. Здесь как в блокадном Ленинграде – люди не могли хоронить

людей…

* * *

Голод сам по себе испытание, где бы ты ни жил, а на фоне ветров с океана или затяжной пурги – испытание куда большее. Мы же аласные люди. Что такое алас? Это обязательно посередине озеро – в Якутии тысячи озер, – а вокруг него поляны и пастбища, а за ними холмы и дальше лес. Мой алас, где я родился, называется Кюндюль. Долго мне снились наши лошади, и как отец учил меня запрягать, как усаживал на лошадь, как табуны паслись на воле. Через много лет я им посвятил свою работу, которая так и называется «Лошадки моего детства» – спящий мальчик посреди тундры видит их во сне.

Помню похлебку из американской муки, которую экономили и так разводили водой, что получался прозрачный клейстер, и мы пили его. Позже стали давать американский сахар – кубики. Видимо, когда с Аляски стали летать к нам американские самолеты через Якутск. Что-то не помню радости от сахара, видимо, было уже все равно. Я видел, как на моих глазах люди менялись – сначала кожа да кости, а потом напухали до невозможности, как пузырь, а это не жилец уже.

Самым страшным днем моего детства был день смерти мамы и сестры. Утром я проснулся рядом с мертвой Марфой. Наша семья спала на одних нарах под одним заячьим одеялом – сестра, я в серединке, как младший, и мама. Вынесли Марфу из юрты утром, а вечером у огня варили там падаль лошадиную, и вдруг мама начала валиться назад и опрокинулась. Ее подхватили люди. И все…

Так я остался круглым сиротой. Марфе было 17 лет. А маме, которая мне казалась тогда старушкой, только 40 с небольшим. Ее звали Анастасия Мунхалова…

* * *

После смерти мамы и сестры меня отправили в школу-интернат в Ситте-2. Мне было 8 лет, и я пошел в первый класс. Помнится, на целый день нам выдавали небольшой кусок хлеба, и я его делил на много маленьких кусочков, чтобы сразу не съесть, а растянуть как можно дольше…

Еще помню, что проучился я мало, до 7 ноября. Приехала комиссия, на меня поглядела и запретила учиться – очень

сильное истощение. Ходил я, между прочим, до 7 ноября босиком, не было обуви. Старая износилась, а новую где взять?

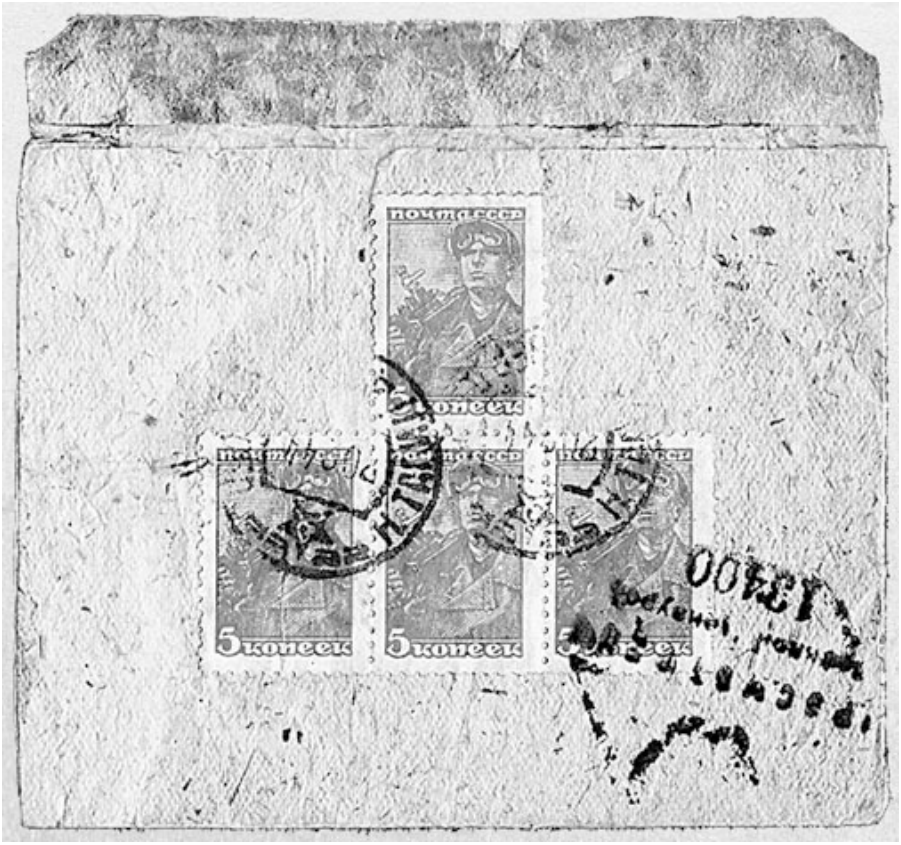
Отвезли меня к одной старушке Акулине из местных, которая жила с сыном-охотником. Это был патронаж. Больницы нет, глухомань. Потом еще привезли «на откорм» Акулине двух сирот-дистрофиков, тоже якутских детей – Таню и ее братишку Петю. На нас давались деньги на одежду, мы были обуты и одеты, а главное – не голодали. Спасибо Акулине за то, что выходила нас! Прожили мы у нее зиму, а в 44-м нас и многих других сирот свезли в Якутский приют, а недели через две отправили по разным детским домам. Я вернулся в Чурапчу, где стало три детских дома. Попал в Соловьевский с начальной школой, потом в Ангинский, где была семилетка. Ну и, как говорится, жить стало лучше, жить стало веселей…

P.S.

Афанасий Петрович Мунхалов, член-корреспондент Российской академии художеств, посвятил серию своих графических работ трагической теме. Серия называется «Сага о Чурапчинском переселении». С выставки Афанасия Мунхалова «Мой Север» на «Интерграфике-67» в Берлине начался расцвет якутской графики.

А еще выжившие на Севере в войну дети поставили памятник своим родным, невинно убиенным на высоком Ленском берегу. В 2002 году был издан Указ Президента Республики Саха (Якутия) за № 269 «О дополнительных мерах по возмещению ущерба, причиненного населению Чурапчинского района от переселения в 1942–1945 гг.».

Спустя 60 лет! При смене власти! И надо заметить, что на самом деле выжившие чурапчинцы не получили разрешения после Победы вернуться на свои земли. Несмотря на просьбы в 45-м, они смогут вернуться только в 48 году. Число жертв без малого 2000.


5 копеек
5 копеек
5 копеек

Белла Рудых, педагог

Я родилась в Харькове и была третьим старшим ребенком в семье. Харьковский машиностроительный завод, где работали мои родители, был срочно эвакуирован. Что я могу помнить? Первый ужас – это крик, плач, бег к поезду, темно, вагон и, наконец, рядом мама. К началу войны мне было неполных 4 года. А когда война кончилась я, минуя детство, в 8 лет сразу стала старушкой…

* * *

Привезли нас на Южный Урал, в Бузулук Оренбургской области, поселили в комнате, где жила с нами еще одна семья. Разделяла комнату ширма из простыней, растянутых на веревке. Мы так жили и после войны долго…

Как только эвакуированный завод запустили, отца сразу призвали на фронт вместе с другими мужчинами, а мама осталась на заводе. Меня и сестренку Валю устроили в детский сад, а братика – в ясли. Тогда детское учреждение называлось «очаг». Мама работала по 10 часов и каждый вечер забирала нас домой, помню, она буквально валилась с ног. Что мы понимали тогда три несмышленыша, нам бы только возле нее устроиться, прижаться…

В 42-м пришло извещение – наш папа «пропал без вести», но мы были малы, чтобы осознать нашу утрату.

Помню, мне не нравился детский сад, потому что я говорила по-украински, а детей постарше это забавляло. Они приставали ко мне: скажи – носки. Я говорю – панчохи. Им смешно! Скажи – лук. Я говорю – цибуля. Они от смеха катаются, а я плачу…

В пять лет я пережила сильное потрясение. Заболела сестренка. Сначала у нее была цинга. А за ней заболел воспалением легких братишка. Меня оставили дома в качестве няньки. Мама продолжала работать на заводе, а к нам приходила помогать соседская бабушка. Она кормила нас какой-то похлебкой, приносила хлеб, полученный по карточкам. Хорошо помню этот ноздреватый серый хлеб – треть буханки, которую надо было растянуть на целый день.

Так вот, через несколько дней наша Валя умерла. Когда мама пришла с работы, она ничем ей уже не могла помочь. Я знала, что детки эвакуированных умирали, видела похороны младенцев, но в смерть сестренки – моей подружки, никак не могла поверить.

Скоро я уже стала понимать, что нам, эвакуированным, тяжелее выживать, чем местным.

Мама заказала детский гробик, а привезли почему-то большой. Я как раз в тот момент качала братишку и отмахивала от него мух. Помню, подошла ко мне соседка и говорит: «Не надо махать, он умер!» Потом подошла к двери и открыла ее настежь. С тех самых пор я совершенно не выношу открытых дверей. А в том большом гробу похоронили двух наших малышей. И осталось от нашей семьи в пять человек двое – мама да я.

В садик я больше не пошла, а с 6 лет начала зарабатывать себе на обед – помогала соседкам управиться с ребятишками, помыть посуду, что-то принести, и за это меня кормили. Больше всех я любила бабу Маню Стрельникову, она была полуслепая. Я ей помогала мыть пол, читала газеты и письма. В моем детском одиночестве я рано начала читать. Баба Маня была очень ласковой со мной и всегда старалась угостить чем-то сладким – сахарком или конфетой…

* * *

Спустя годы в школе, в педучилище, в институте культуры я не гнушалась «поденки». Она мне помогала выживать и в послевоенные голодные годы.

С 9 лет я стала ездить с другими ребятами в колхоз на целый месяц и получала пшеницу на трудодни. Ее можно было сдать на мельницу и получить муку – такое богатство!

У нас не было подсобного хозяйства и огорода, потому что мама много работала на заводе и очень уставала… Я всем, чем могла, помогала маме вести наше скудное хозяйство.

* * *

Но детство есть детство, хоть и разбитое вдребезги вой ной! Я помню, как и во что мы играли. Недалеко от нашего дома были швейные мастерские. Когда мы стучали женщинам в окно, они нам всегда давали лоскуточки разноцветные, и мы делили их между собой. Мамы шили нам маленьких куколок из этих лоскутков, а мы – одежку для них. У каждого была своя коробочка, в которой лежали кроме лоскутков осколки красивой посуды, через цветные стеклышки можно было смотреть на небо и вокруг себя – мир становился другим. И в обязательном порядке мы играли в домик, копируя взрослую жизнь. Причем в игре у нас

всегда была полная семья – и мама, и папа, и детки. В общем, полноценная идеальная семья, где не было погибших отцов и войны не было. В нашей игре обязательно были обеды – кушанья из травы и цветочков. Эти обеды были очень важной составляющей в игре. А в жизни если нам перепадал жмых из подсолнечника, то это был уже праздник…

Помню один курьезный случай, как у нас в доме впервые появился маргарин, а хлеба как назло ни кусочка. Я съела с картошкой этот маргарин и сильно заболела. И до сих пор не могу забыть то сильное чувство обиды неизвестно на кого. Помню, возле моей больничной койки на стуле лежит белая булочка и яблоко, а я смотрю на них и плачу, потому что знаю, съесть нельзя – жить хочется!

Горюнова Елена, библиотекарь

Я родилась в Туле в 1932 году, и когда началась война, мне было уже 9 лет. Отец мой трагически погиб перед войной – однажды уехал на охоту, а назад его привезли в гробу. Мама сильно заболела, и ее положили в больницу. А за мной приехала бабушка и увезла меня в Москву, потому что у мамы обнаружили туберкулез, и мне нельзя было с ней жить. Вырастила меня бабушка Екатерина Аполлоновна Никольская, к слову сказать, она росла в Ясной Поляне, имении Толстых, где ее дядя был поваром семьи Льва Николаевича.

Перед войной я успела закончить 1-й класс 166-й школы. Но в 41-м году в нашу школу попала бомба, и во второй класс я пошла не 1 сентября, а много позже, в другую – 174-ю школу недалеко от метро «Новослободская». Жили мы на 5-й Тверской-Ямской, дом 12, квартира 66. Такая обычная московская коммуналка – коридор и 16 семей. Это был дом милиции. Моя тетя – старшая дочь бабушки и ее муж-инженер работали в транспортном отделе милиции. У нас были две смежные комнаты. В маленькой жила я с бабушкой, а в большой – тетя с мужем и дочкой. Мужа тети призвали на фронт сразу же, потом он приезжал с фронта и два месяца учился в бронетанковой академии, был и ранен, и контужен, а погиб в 45-м перед самой Победой в Германии – его танк подорвался. Он был единственным мужчиной в нашей семье…

Помню, когда началась война, у нас в комнате появилась печка-«буржуйка». В голоде и холоде с ней было хорошо. И счастье, что у нас в доме была вода, хотя и не работало отопление. И в классе нам поставили «буржуйку», но все равно было очень холодно.

Во втором классе я потеряла свою подружку Люду, с которой сидели за одной партой. Забыть ее не могу до сих пор. Она жила в бывшем доме купца Хомякова, там сейчас ресторан «София» на Маяковке. В этот дом попала бомба, там все погибли и семья Люды тоже. На рассвете бомбили. Но Люда вместе с трехлетним братиком Вовочкой упали с четвертого этажа на первый вместе с железной кроватью, на которой спали, и остались живы. Их папа был на фронте, поэтому Люду с Вовочкой забрали в детский дом. Мы с ней так рыдали, когда расставались…

* * *

В 41-м бабушка пошла работать в госпиталь (теперь Институт имени Бурденко), с которым у меня тоже связано немало воспоминаний. Однажды меня ранило в руку осколком зажигательной бомбы. Я неправильно как-то ухватила ее щипцами, и она взорвалась. Кровь течет, кто-то руку мне держит вверх. И вот все ребятишки бегом с чердака в госпиталь, хорошо он был напротив. Их не пустили, а меня забрали, кровь остановили, рану обработали, и тут бабушка моя прибежала, за сердце держится, говорит: «Ой, мне сказали – «твоя Аленушка под бомбу попала…»

* * *

Никто детей не инструктировал, но мы смотрели, как взрослые управляются с «зажигалками», и помогали им. Чердаки все были открыты, нас не гоняли. Щипцов там много валялось, бочка с водой, ящики с песком стояли, только лопаты были тяжелыми, и женщины сами засыпали дымящиеся осколки. Мужчин ведь не было, а те, кто остался, работали днями и ночами, поэтому мы, конечно, помогали – и тушили, и песок на чердак таскали. У нас дом трехсекционный был. Одну секцию особенно закидывали – «зажигалки» пробивают крышу и падают на чердак, одни осколки горят, другие – дымятся…

Потом эту секцию все-таки разбомбили. Но чаще всего,

как завоет сирена воздушной тревоги, мы с бабушкой бежим к метро «Маяковская», прямо через улицу Горького (теперь Тверская). Машин нет, темно, все бегут прямо по мостовой. Я обычно с подушкой, у бабушки два одеяла. Мы спускались по эскалатору. Там у стен стояли деревянные настилы. Мы брали один, находили свободное место и вместе с бабушкой ложились на платформе. Одно одеяло вниз, другое сверху.

Но один раз нас не пустили в метро. Военные, перекрыли вход в наше «бомбоубежище» и направили всю толпу дальше – рядом были открыты двери Зала Чайковского. Но сам зал был закрыт, а вестибюль и кассовый зал оказались забиты людьми. Было очень страшно и непонятно, все знали – немцы под Москвой. Нас с бабушкой прижали к окну в вестибюле, и мы смотрели только на небо, бабушка молилась…

А на следующий день был знаменитый и единственный за время войны Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года, откуда бойцы уходили прямо на фронт…

Спустя время, мы узнали, что накануне на станции «Маяковская» Сталин проводил торжественное заседание Моссовета, потому нас и не пустили.

Я хорошо помню страшные октябрьские дни до этого Парада, когда Москва вся бежала, бежала, а потом резко обезлюдела. В эти дни открыты были двери уже пустых магазинов, люди вынесли все, что смогли. Мы с бабушкой пришли в соседний магазин, там уже никого и ничего не было, а под ногами была рассыпанная грязная соль, ее затоптали. И бабушка стала ее собирать. Дома она ее промыла и просушила. И все повторяла: «Война, детка моя, война, немец на пороге». Это наше соленое богатство потом пригодилось – мы стали всем давать соль, а нам за это давали что-нибудь покушать.

Когда по радио объявили эвакуацию, кто смог уехать, тот уехал. Бабушка сказала, что мы остаемся. Я не спрашивала почему, а сейчас понимаю – одна дочь военнообязаная, а другая – больная и работает на военном заводе. Куда же она от дочерей, да еще с двумя внучками?

* * *

Мама моя, приехав в Москву, уже работала бухгалтером на заводе «Компрессор», который делал «катюши». Работала, как все, много и жила рядом с заводом. Помню, я ездила к ней на 28-м трамвае, который от нас шел прямо до шоссе Энтузиастов. Я привозила ей чистое белье, а она смотрела

на меня и только гладила по макушке. Ни разу мама меня не поцеловала. Когда я сама стала матерью, я все думала: какая была выдержка у мамы, рядом твой ребенок, а его нельзя прижать, поцеловать. Потом она поправилась, ее сняли с учета, а в войну какое лечение – изнуряющая работа, холод и плохое питание…

Помню, как мы с бабушкой ездили в Дмитров менять на просо сшитые из одеяла сапожки. Потом мы шлифовали это просо, и у нас была вкусная пшенная каша. До сих пор вижу наши два камня, которыми я терла просо, чтобы удалить шкурки, а когда просеешь, то получается красивое пшено.

У меня вообще была потрясающая бабушка! Она кому-то шила и перешивала, и нам за это еду давали, чаще – картошку. Я быстро из всего вырастала, и бабушка шила мне из старого ватного одеяла обувь – бурки и варежки. Кто-то отдавал пальто, и бабушка мне его перелицовывала. Я была самой высокой в классе, и меня с семиклассниками посылали на заготовку дров. Мы всю войну ездили «на дрова» для школы. Батареи не топили, потому что не было угля. А в классах стояли «буржуйки» и мы их топили дровами, но они все равно остывали быстро. Мне давали короткую пилу одноручную, и я спиливала сучья и кустарник. Так что в 10 лет я научилась пилить…

* * *

Моя тетя и ее дочка-старшеклассница рыли окопы под Москвой. Мы, младшие, тоже старались не отставать. После школы ходили в госпиталь, помогали раненым писать письма. Раненые были очень тяжелые, это был нейрохирургический госпиталь. Писали под их диктовку. Но некоторые из них совсем не говорили, а кто-то совсем плохо говорил. Мы, конечно, и концерты давали – кто танцевал, кто пел, кто стихи читал. Девочки могли и полы помыть в коридорах, а мальчики ухаживали за садом, зимой снег убирали. Мы на все отзывались! Помню, нам раздавали огромные белые медицинские носки для хирургии с огромными дырами на пальцах. И одна бабуля в больнице учила нас штопать, девочки брали носки домой как домашнюю работу…

Хорошо помню День Победы! Все шли по улице Горького потоком! И вся наша ребятня, и вся окрестная шагали рядом со взрослыми – от Маяковки до Белорусского вокзала! Мы встречали солдат с фронта! Там рядом, за Вторым часовым заводом, было поле, заросшее ромашками (сейчас все застроено).

Так мы в спешке рвали эти ромашки прямо с землей, с травой и неслись на вокзал встречать очередной состав! Такое это было счастье – встречать победителей и хоть что-то им отдать! А больше у нас ничего не было…

Юрий Фролов, капитан 1-го ранга в запасе, Северный флот

В 41-м я должен был пойти в школу. 10 сентября мне исполнялось 7 лет. Дома обычные хлопоты и разговоры: как быть со школой? Дело в том, что на Московском станкостроительном заводе им. Орджоникидзе, где моя мама работала револьверщицей, передовикам производства, и маме в том числе, должны были к 7 ноября выписать ордер на городскую квартиру в новом доме. А пока наша семья жила на съемной, на станции Ленинская (теперь район Каширки).

Но 22 июня 41-го перевернуло и детскую, и взрослую жизнь…

* * *

Помню, как дома шли сборы. Ночью мы не спали, мама укладывала вещи – с утра надо быть на Казанском вокзале. Мы уезжали в эвакуацию. И вот ночью в темном небе я впервые увидел воздушный бой. Прямо над головой. Страха не помню. Помню, как сильно переживали взрослые, лучи прожекторов ПВО гонялись за немецким самолетом, а тот уходил от них. Я тоже «болел» за зенитчиков и уже тогда своим детским умом понял, что игры в войнушку закончились вместе с детством!

А наутро, когда электричка привезла нас на Павелецкий вокзал, мы увидели, что на привокзальной площади больше нет застекленного рынка. На его месте обгоревшие головешки. Может быть, это и была работа ночного, прорвавшегося к Москве немецкого самолета. Конечно, целью был не рынок, а вокзал, но в любом случае перед нами были следы начавшейся войны.

* * *

Дальше помню саму площадь Трех Вокзалов, полностью заполненную людьми. С трудом мы протиснулись между сидящими на вещах женщинами и стариками. Особенно много было детей. От солнца некуда было укрыться. Все нервничали, призывали друг друга не шуметь, чтобы услышать по радио номер очередного эшелона. Люди прибывали, матери до хрипоты надрывались, звали своих непоседливых детей. По радио уже объявляли о потерянных. Время шло. Наконец, и наш состав

до Пензы объявили. Мама, не отпуская меня, схватила корзину и, попросив соседку присмотреть за чемоданом, побежала к поезду. Когда мы добрались до своего товарного вагона, мама попросила соседей присмотреть за корзиной и побежала назад за чемоданом, все так же не выпуская моей руки. Но, когда мы прибежали на старое место, ни нашего чемодана, ни сидящих там людей уже не было. Всю дорогу мама переживала. Там были теплые вещи. Она ругала себя и плакала, а я ее успокаивал.

* * *

В Пензе наш эшелон встречали люди с повозками. Они «разбирали» эвакуированных. Помню, как к маме подошел пожилой мужчина. Они поговорили, и мы пошли к лошади. По дороге мама повторяла: «Видишь, сынок, мир не без добрых людей». Мы проехали много деревень. В одной из них мне запомнился мальчик, сидящий на окне. Он так хорошо о чем-то пел на непонятном языке, что эта песня успокоила нас – здесь была хоть и незнакомая, но мирная жизнь.

Жилье оказалось далеко от города. Хозяйка была радушна и сразу нас усадила за стол. Мы познакомились с тремя сыновьями-школярами. А наш хозяин оказался кузнецом. Подсобное хозяйство у них было крепкое. С первого же дня мы питались вместе, как одна большая семья.

Как раз была уборочная пора, и мама вышла в поле. Освоила работу серпом и к концу уборки ее фотография появилась на колхозной доске почета, как и раньше на заводской. Мою маму звали Анастасия Андреевна Фролова.

* * *

А потом пришел вызов от папы. На фронт отца не взяли. Когда-то в тридцатые годы он, Николай Иванович Фролов, коренной москвич, был призван в ряды 25-тысячников и уехал на свою «поднятую целину», где женился и где я родился. Там же умер их первенец. Там же отец тяжко заболел.

И хотя выкарабкался, но в Москву вернулся инвалидом и… семейным человеком. Лозунг того времени «кадры решают все» имел прямое отношение к моему отцу. Тыл нуждался в управленцах с опытом. И мы с мамой, попрощавшись с доброй семьей кузнеца, отправились на запад, под Рязань в Захарово, куда папа был назначен руководителем райфинотдела. Помню, как в нашем доме висела карта, которую принес отец, и мы все вместе отмечали линию фронта. Помню тревогу мамы. Она часто повторяла: «Ну вот, были эвакуированные, а теперь беженцы».

Однажды папа ушел на работу и сразу вернулся, сказал, что немцы заняли Михайлов, а это в 20 километрах от нас. Он приказал маме быстро собраться и идти дорогой на Рязань. Семье коммуниста нельзя оставаться. А ему самому надлежало выполнить приказ, сжечь документы, а секретные любым способом доставить в Рязань. Наш папа сказал «храни вас Господь», поцеловал и исчез. Мы с мамой стояли у окна и смотрели, как папа, хромая, уходил полем один. Свидимся ли? Мы ничего тогда не знали…

Времени на сборы не было. Мама только бросила в мешок недопеченный хлеб, и мы выскочили из дома. Помню, мы прошли мост, и вдруг появился наш самолет. Он пролетел совсем низко, я видел летчика, который разбомбил этот мост. Я услышал свист падающей бомбы, видел летящие доски, бревна. Земля и вода накрыли нас. Нет, я испытал даже не страх, а настоящий ужас! Когда мы поднялись с земли, я сначала ничего не слышал, только видел испуганные мамины глаза. Потом она успокоила –

не бойся, это чтобы не прошла немецкая техника.

* * *

Сколько раз за войну я испытывал чувство ужаса, не посчитать, но бывало всякое. Было, что немец пристально разглядывал меня и поигрывал автоматом, а было наставлял автомат. Но в 7 лет мне казалось, что рядом мама и я защищен!

Помню, вошли в одну деревню и столкнулись с немцами. Сначала мы даже не поняли – на улице ни одного человека, даже собаки не лают, тишина гробовая. Выходим из-за угла дома, а в центре деревни, напротив церкви, две бронемашины и возле них три немца, прямо на нас глядят. Я хотел бежать. Но мама сказала, что бежать нельзя, надо идти очень спокойно, будто мы не беженцы, а здесь живем. Вероятно, это была немецкая разведка. Когда они развернулись и умчались в сторону города Михайлова, деревня ожила, залаяли собаки, и люди вышли на улицу. Одна старушка нас временно приютила…

Помню, как все ценное в домах люди прятали, закапывали. Стояли сумки наготове на случай побега. Мама тоже спешно замесила и посадила несколько буханок в печку. Но не успел испечься хлеб, как за окном появилась большая немецкая колонна. Первыми ехали мотоциклисты в белых маскировочных халатах с пулеметами в колясках. За ними большие крытые машины, на прицепах пушки зачехленные. Враг катил по рязанской земле в сторону города Каширы. Женщины, глядя в окно, причитали: «Господи, пронеси!» Вдруг колонна остановилась, и солдаты стали выпрыгивать из машин и бежать к домам. Женщин от окна, как ветром сдуло. Я стал кричать: «Мама, бежим!» А она вытаскивает из печки недопеченный хлеб и бросает в наволочку. В дверь уже бьют, кричат. Тут и мы выскочили через окно в огород. Видим – за домом немецкий офицер у автомобиля. Заметил нас, что-то сказал и поманил рукой. «Мама, пойдем к нему, а то застрелит». Мы прошли несколько шагов, но его кто-то позвал, и он скрылся за углом. Не чуя ног, мы развернулись и побежали…

По пути в соседнее село мы видели, как наш самолет разбомбил еще один мост с немецкой техникой. Он сделал два захода и улетел. А мы с мамой, хоть и падали носом в землю, шепотом орали «ура-а-а-а». В полной темноте вошли в незнакомое село. Нас и здесь приняли и уложили. И так было везде, где мы проходили…

* * *

Помню, рано утром, когда все спали, застучали в дверь. Хозяйка выглянула в окно: «Наши пришли!» Я пулей слетел с печки. Вчера площадь перед двухэтажной больницей была безлюдной, а теперь ее было не узнать! Пушки, машины, много красноармейцев. Перед нашим домом стояли человек шесть бойцов в касках, фуфайках, валенках и ватных штанах. Потом хозяйка их поила чаем, а ночью они спали на полу на соломе. Когда я проснулся, их уже не было. И площадь перед больницей была пуста. Ближе к ночи со стороны Михайлова услышали артиллерию и по зареву огня поняли, что идет бой…

Той же ночью к нам постучали. Это были те же солдаты. Время, конечно, стерло в памяти весь разговор, но кое-что помню. Когда хозяйка поставила им чугунок картошки с квашеной капустой, они отодвинули и сказали, что после того, что они видели, есть нельзя. Рассказали, что на передовую они везут снаряды под огнем и в любой момент могут взлететь на воздух. А после разгрузки вывозят раненых: «Много убитых, много раненых, стоны и крики со всех сторон, знаем, что на морозе погибнут, но всех мы спасти не можем». Помню, как один сказал, что не стоит ваш городишко стольких жертв. Когда они ушли, мы видели в окно, как двое санитаров снимают носилки с машины, а третий набрасывает простыни, и видно, как они покрываются темными пятнами. Всю ночь машины возили раненых. Город Михайлов был освобожден! Позже, курсантом военного училища, я узнал, что бой за Михайлов вошел в историю как первый ночной бой…

Мы вместе с другими беженцами вернулись в село Захарово. Дом и вещи остались в целости, но картошка и капуста замерзли. Денег не было. Надеяться было не на кого. Сохранился маленький запас муки, который мама старалась подольше растянуть. Об отце никто ничего не знал. И вот пришло спасение, однажды к нам постучались беженцы – супружеская пара. Оказалось, вальщики. Слух разлетелся быстро. Стали поступать заказы на валенки. Мама начала им помогать, и когда жильцы уехали, она могла работать самостоятельно. Это тяжелая, неженская работа, но она служила семье источником существования всю войну. Мало очистить шерсть, ее надо скатать, свалять, оттереть, набить колодки, а после сушки снять и очистить пемзой. Я все это знаю потому, что помогал маме. Как сейчас вижу мамины руки, лучшие руки на свете! Сколько им досталось!

Никаких известий об отце не было. Мама плакала тайком. А я просыпался и ждал его. Помню, к нашему крыльцу подъехали

сани, а в них человек в тулупе. Смотрим – отец! Приехал, чтобы перевезти семью к новому месту работы в Кораблино. Там в январе 1942 года я, наконец, пошел в 1-й класс…

За годы войны наша семья часто переезжала. До сих пор не могу объяснить причины. В основном отца «кидали» на должности председателя колхоза или председателя сельского Совета.

* * *

Весной 1943-го мы прибыли на новое место – в Княжное. Помню убогость того домика под соломенной крышей на краю оврага, два окошка с выбитыми стеклами. Пол – старые доски прямо на земле. Внутри плита, железная кровать и качающийся стол. Не помню, чтобы мама дрогнула, что-то с укором сказала. Главным для нее было то, что мы все вместе – и отец, и я, и мой новорожденный братик Толя…

Помню, когда мама уходила на работы, я оставался за няньку. Обычно Толя спал в подвешенной люльке, пока я делал уроки. Когда он просыпался, я должен был его покормить из кружечки с гречневой кашей, которая стояла на плите. Помню, кормлю его, как учила мама, беру кашу в рот, пережевываю, возвращаю на ложечку, и только потом в ротик малышу. Горько и смешно вспоминать, но открытый ротик братца не всегда получал свою ложечку каши. Непроизвольно она оставалась в голодном желудке старшего брата. Вот однажды каша кончилась, а Толя и не думал засыпать. Тогда я решил с ним покататься на люльке, чем не качели? Когда я оттолкнулся, веревки под нашим весом оборвались, и Толик с криком вылетел из люльки. Я от страха сам заревел. Наш дружный рев закончился с приходом мамы…

Еще помню маму с другими женщинами, когда они собирались вместе и вязали для фронта носки и варежки.

А девчата обвязывали носовые платки и шили кисеты, вкладывая в них записки…

* * *

Шел второй год войны. Зерно и картофель под строжайшим контролем сдавались государству – это мы, дети, знали. Отца я почти не видел. Со школой выходили в поле собирать колоски после уборки. Весной я ходил с лопатой на старое картофельное поле в поисках мерзлой картошки. Так и другие дети делали.

Из нее готовили «ковырки» (оладьи).

Отдавая все фронту, приходилось жить в голоде. Бывало, что покупали куски хлеба у побирающихся…

Раиса Алымова, архивариус

Я – «житель блокадного Ленинграда», и у меня есть этот наградной знак, но точнее было бы сказать, что я младенец блокадного Ленинграда. Интересно узнать, сколько еще новорожденных блокадников дожили до освобождения нашего города?!

* * *

Я родилась первой блокадной зимой 15 декабря 1941 года, и мне суждено было пережить всю блокаду. Моего отца призвали в самые первые дни войны. Жили мы тогда в Петергофе, улица Золотая, дом 2. Я сказала – мы жили. Вернее, жила там молодая пара в ожидании меня. Этот довоенный дом и сейчас стоит, он каким-то чудом уцелел, хотя в Петергофе хозяйничали немцы, и наш прекрасный Петергоф не раз горел и был сильно разрушен, даже царский дворец пострадал от пожара.

Мой отец, «красноармеец Алымов Петр Федорович, уроженец Орловской области», не провоевал и двух месяцев. Это первые серьезные потери. Так что я родилась уже сиротой, и мой отец меня не увидел, как и я его…

* * *

Помню один эпизод – это 45-й год. Я – пятилетняя с мамой и другими людьми стою на улице и смотрю на пленных немцев, которых колонной ведут мимо нас, даже оборванную полу шинели помню у одного из пленных. И вдруг какая-то сила во мне, в худющем ребенке, кидает на эту колонну, я вырываюсь из маминой руки и цепляюсь за какую-то шинель с криком: «Зачем моего папу убили?!» Долго потом мама не могла меня успокоить…

* * *

В августе 42-го, когда мне было 7 месяцев, мою маму, 25-летнюю Сашу Алымову Петродворцовый военкомат призвал в ряды бойцов ПВО. Это противовоздушная оборона, где в основном были девчонки – зенитчицы, прожектористки,

которым вменялась в обязанность «противопожарная охрана жилых домов и общественных зданий, школ, музеев». Они же поднимали аэростаты – заграждения для самолетов на малой высоте… Мамина медаль «За оборону Ленинграда» как святыня хранится в нашем доме. Жаль, что нельзя ее уже ни о чем расспросить! А когда я росла, о подробностях блокады информация была, мягко говоря, неполной. Но чем дальше от войны, тем больше мы узнавали. И чем старше я становилась, тем удивительней мне казалось чудо моего сохранения. До сих пор не перестаю изумляться мужеству моей мамы. 850 тысяч ленинградцев не дожили до Победы, а я, младенец, рожденный под бомбежку в голодном и холодном городе, выжила! Судьба! И все же кое-что из маминых ответов на мои редкие вопросы память сохранила.

«Ну как же ты со мной новорожденной жила, чем кормила?» – спрашивала я. И мама рассказывала: «Мы с тобой перебегали подальше от линии фронта, в уцелевшие от бомбежки и обстрелов дома. Кольцо блокады сужалось и пригородам очень сильно доставалось. Наберу снега, – говорила мама, – растоплю, тебе губы смочу, сделаю тюрю…»

А один раз, я знаю, ей счастье привалило: забежав в очередной дом, увидела на русской печке забытый узелок с сухарями. Наверное, хозяева торопились эвакуироваться…

Еще из маминых воспоминаний, когда она уже служила в ПВО. Однажды была бомбежка во время ее дежурства. «Бегу, – говорит, – к дому, думаю – все, тебя не найду, горит соседний дом. Прибегаю, стекла выбиты, кроватка завалена». Мама, уходя, затягивала кроватку покрывалом, и получалось, что я спала под навесом. Она говорит: «Я завал разгребла, а ты молчишь и на меня только глазами лупаешь. Я тебя в охапку и на улицу. Нашла еще один пустой дом. Главное – чтобы крыша была и окна целы. А печку растопить можно и мебелью…»

Во мне веса нормального не было, блокадные малыши поголовно были дистрофиками, меня и в школу не принимали в 7 лет. Я была невероятно худой до самых 30 лет. Летом и осенью, конечно, было полегче, грибы выручали почти рядом с домом, что-то и на огородах было. Но борьба за выживание порой была жестокой – у мамы и сумку из рук вырывали, и карточки воровали. А однажды я чуть не осталась сиротой – пошла как-то мама поискать в брошенных квартирах таз, чтобы меня искупать. Встретила женщину, сказала, что ищет таз и не поможет ли она ей. И та повела ее – иди за мной, и все оглядывалась и манила ее, пока не завела в какой-то дом, где мама за стеклянной дверью увидела человека в белом халате,

а на столе… такое, что поняла – бежать немедленно! И она так бежала! А когда выбежала во двор, ей встретился человек с метлой, который сказал, что ей повезло, оттуда никто не возвращается, и ей, такой молодой и полной, надо быть очень осторожной. Мама говорила, что отечность от голода он принял за полноту… О случаях блокадного людоедства не принято говорить, но это не является уже тайной[6]. После войны про ту самую женщину, говорили, что «за ней пришли и увели, и больше ее никто не видел»…

Владимир Летучий, поэт-переводчик

В детстве я каждый год в день своего рождения приставал к маме с расспросами. Меня страшно интересовала непростая история моего рождения. Не каждый мальчишка мог похвастаться тем, что родился в блиндаже на линии фронта под Сталинградом.

Рос я, росли мои вопросы. И мама терпеливо, заново мне рассказывала…

Когда мне исполнилось 12 лет, историю моего рождения рассказывать стало некому. Мама умерла через 10 лет после Победы. А спустя время я нашел мамины письма. Среди них было вот это.

* * *

«Когда ты был маленький, то часто просил меня рассказать об истории твоего рождения. Появление младенца на свет – всегда чудо. Этому чуду жизни не может помешать даже война. Ты ведь знаешь, что мне каждый раз приходилось вспоминать то страшное военное время и снова произносить: беженцы, землянка, мороз, немцы, Сталинград…

Мать Владимира Летучего

Первоклассники. Владимир Летучий в центре

Помнишь, я тебе рассказывала, что, когда «мессеры» налетают бомбить эшелон, машинист должен остановить поезд. Ты спрашивал: «Зачем?» Я говорила: «Чтобы дать беженцам выскочить и попрятаться – так нас больше может спастись». Мы прыгали под откос и разбегались. Только мне в моем тяжелом положении, да еще с твоим братишкой на руках, далеко не убежать. Один раз надо мной самолет пролетел так низко, что я даже видела летчика в кабине, после бомбежки они обычно летят нас расстреливать. Слава Богу, пули нас не задели. Но мой сильный страх передался тебе, и ты, помню, стал отчаянно стучаться у меня под грудью…

В другой раз при бомбежке меня так накрыло сверху, что я решила – все, завалило! Оказалось, мои попутчицы, такие же беженки, как я, – внучка с бабушкой, упали на меня. Тогда тоже повезло, мы остались живы, но эшелона нашего уже не было…

Я не знаю, сколько сотен верст я прошла пешком! По донским степям к Волге, на восток. Очень страшно было, когда нас, обгоняли отступающая пехота и артиллерия. У нас исчезала надежда.

Твоего брата я несла на руках почти всю дорогу. Иногда меня спрашивали:

– Как сына зовут?

– Фридрих, два года.

– Немец, что ли?

Я объясняла, что сына назвали в честь Фридриха Энгельса…

А ты родишься 22 января 1943 года. Сейчас трудно объяснить, почему я оказалась в Сталинграде, не я выбирала, куда бежать от войны. Так привела дорога меня и таких, как я. Мы кочевали из одного подвала в другой, из одной землянки в другую. С нами были и сталинградцы, не успевшие эвакуироваться. Это была самая лютая и голодная зима в моей жизни.

Я знаю, как ты любишь, когда я рассказываю о том, что твой первый крик совпал с артиллерийской канонадой. Мне тогда казалось, я даже была уверена, что защищают именно тебя! Я плакала вместе с тобой…

Когда немцев под Сталинградом разбили, я где пешком, где на попутках отправилась дальше от войны.

И вот однажды в степи на подъезде к селу Черный Яр – это большое старинное село на Волге – попутная полуторка сломалась. Так было угодно судьбе! Именно здесь ей надо было сломаться!

Стемнело уже, стоим мы на дороге – ты на руках и твой братик за юбку держится. Делать нечего, пошли мы в село проситься на ночлег. Постучала в дом, где окна светились. Вышла женщина. Оказалось, санитарка из местного госпиталя. Она напоила горячим травяным чаем и спросила:

– Как зовут?

– Лена.

– А по фамилии?

– Летучая.

Она охнула:

– У нас тяжелораненый лежит Летучий, может, твой родственник?

Я показала похоронку: «Ваш муж… пал за Родину…» А потом мы положили вас спящих и побежали в госпиталь. Влетев в палату, я увидела твоего отца, моего Матвея…

Обо всем этом я рассказывала тебе не один раз. И ты помнишь, как на этом самом месте нам было весело, потому что у нашей истории оказался счастливый конец! День Победы мы встречали уже вместе, вчетвером!»

* * *

Я храню дорогое мне письмо для внуков, у меня теперь их двое, и хочу написать продолжение – пусть знают историю семьи!

Помню, как в школе я и мои сверстники отказывались учить немецкий язык. Память о войне мешала! Но в отсутствие учителей английского нам пришлось учить все-таки немецкий. И в МГУ у меня продолжался немецкий язык. С тех пор я перевожу немецких поэтов (и не только их). Как известно, «воюют не поэт с поэтом – не Александр Блок с Райнером Мария Рильке, а пулемет с пулеметом». Вместе с маминым письмом лежат мои юношеские стихи, посвященные ей, которые заканчиваются так:

О мать, твоя могила
Теперь с другими в ряд –
Ты тоже победила
В боях за Сталинград!

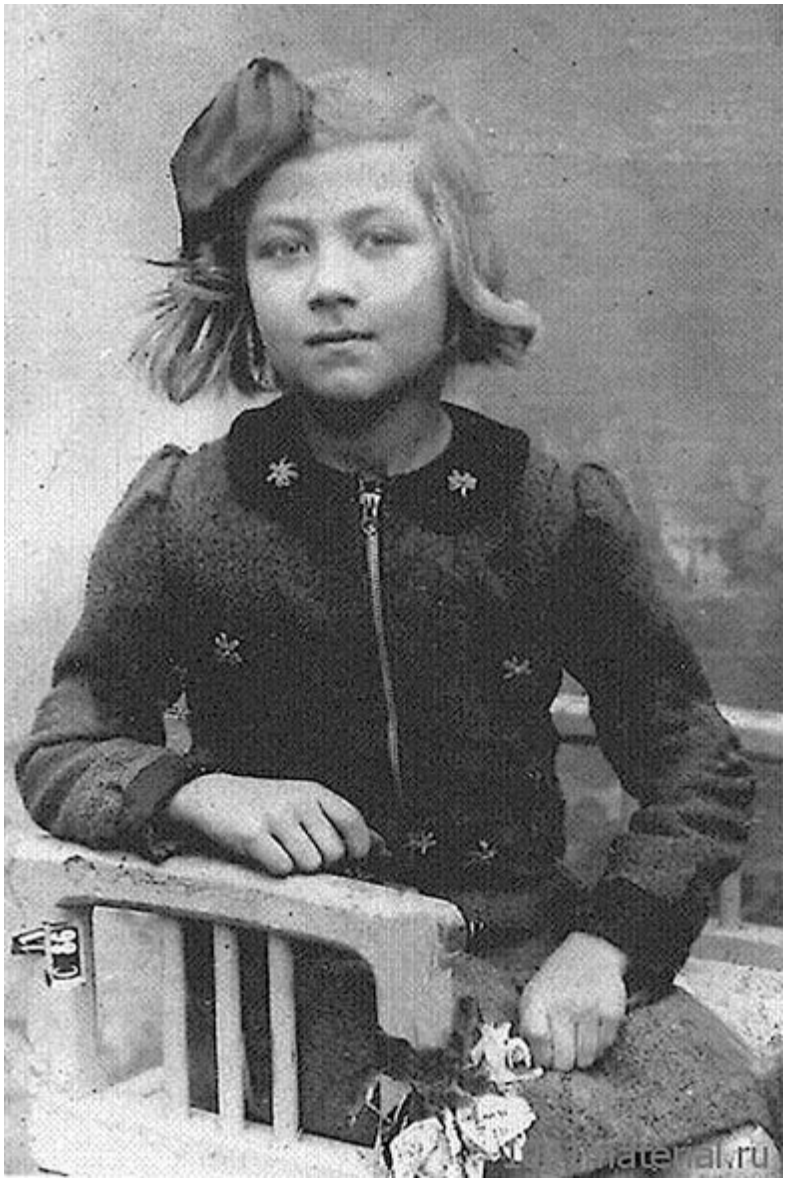
Эдита Пьеха, народная артистка СССР

Для меня война – это Франция, самое грустное время моей жизни, как в серо-черном облаке детство прошло. В 40-м, когда мне было 3 года, север Франции был оккупирован немецкими войсками. Мои родители-поляки приехали во Францию в 20-е годы, и я родилась в городке шахтеров Нуайль-су-Ланс. Жили мы сначала неплохо. Хозяин шахты выстроил целые улицы домов для семей шахтеров. Каждый дом на 2 семьи. У нас было 4 комнаты, приусадебный участок, где папа разводил розы и сирень, подвал, который служил потом бомбоубежищем.

Франция не хотела воевать и капитулировала. Поэтому в основном Франция не подвергалась издевательствам немецкой армии. Другое дело север Франции, где мы жили. На шахтах работали люди из разных стран – чехи, русские, поляки… Шахтеры не хотели добывать уголь для военных заводов Германии, и, чтобы не работать на войну, они пускали составы со своим углем под откосы. А за это нас бомбили. Я помню до сих пор эти сирены и оповещения об очередной бомбежке. Помню, как наших соседей разбомбило и всей улицей их откапывали – им повезло, там подвалы рыли глубокие и никто не погиб.

* * *

А в 41-м мы хоронили папу под свист бомбежки. Так случилось, что мой папа Станислав Пьеха после 20 лет работы под землей умер от силикоза, это окаменение легких. Ему было 37 лет. И осталась мамочка в разгар войны с двумя детьми – мне 4 года и брату Павлу 14 лет. Тогда брат взял на себя ответственность за семью, ему приписали 2 года, и он, школьник, пошел в шахту вместо отца. Только благодаря Павлику мы не потеряли жилья. Но через 3 года брат заболел туберкулезом в скоротечной форме. Помню, как он просил сладкого – «я никогда не ел шоколада», мама делала для него все, что могла. Запомнилось, как мама плачет возле него, а я мучаюсь: чем же я могу ему помочь? И вдруг сирена, тревога. Прибегает наш друг Ян Голомб и хватает на руки больного Павлика, и мы бежим в поле, там было безопаснее всего. А в 44-м, в свой день рождения Павлик умер, ему было 17 лет…



Эдита Пьеха, 6 лет

Потом и я заболела туберкулезом. Меня спасать уже было нечем, но это была неострая форма, как у брата. Чем-то меня лечили, но это все было на фоне постоянного чувства голода…

* * *

Помню, однажды на улице к маме обратился немецкий офицер – «фрау». А мама родилась в Пруссии и знала немецкий

язык. Он спросил, где можно постирать рубашку, и мама согласилась. За работу он принес нам котелок супа – ну это было для нас тогда уже лакомство! Мама тоже пошла на шахту сортировщицей…

Помню, как мама брала в руки мандолину, на которой сама научилась играть, и пела грустные польские песни. «Иди ко мне, – говорила она, – пой со мной вместе, в горе надо петь». Она была католичкой, пела в хоре костела. Мамочка, ее звали Фелиция, была сильной женщиной – в 36 лет остаться вдовой, через 3 года похоронить сына, перенести Первую и Вторую мировые войны, одна из 6 детей в своей семье, она была голодной всю жизнь, по карточкам жила до самой смерти. Сломала ее болезнь в 66 лет…

* * *

В 43-м я пошла во французскую школу при костеле. У нас были классы для девочек и классы для мальчиков. Рядом со школой вырыли бомбоубежище – глубокий подвал для гражданских людей и для детей. Там мы часто сидели, ждали, когда все закончится. Жестокое время! Дети не должны сидеть в бомбоубежищах, дети не должны голодать…

Иногда по дороге в школу мы видели колонны военнопленных, которых вели на шахты. Я не знала русского, но у нас были русские дети, и мы знали, что это русских военнопленных привезли для работы на шахтах. Они шли в расшнурованных ботинках, в шинелях без ремней, небритые. Мы провожали их, отдавали свои скудные завтраки – какие-то кусочки съестного, хлеба ломтик, а потом бежали в школу.

* * *

Однажды наша учительница сказала нам: «Мы будем учить песню, которая будет нашим секретом». Она очень рисковала. И мы тихонечко пели вполголоса, класс девичий был, человек 20. А вот когда грянула весть об окончании войны, она сказала: «Теперь вы должны бежать на улицу и петь во весь голос нашу «Марсельезу» – это гимн людей, которые боролись за свободу!» И мы бежали по главной улице и пели громко-громко. Я и сейчас помню все слова!

(В тесной гримерке с высоченным потолком буквально взметнулась потрясающей красоты «Марсельеза», может быть,

одна из лучших песен человечества. Эдита Станиславовна допела ее до конца. Напеть слегка и поставить точку раньше она не посмела – память, наверное, не дала!)

Я и домой прибежала с песней. Мама удивилась и сказала: «Это же гимн Франции, откуда ты его знаешь?»

Я сказала маме, что это был наш секрет, а теперь можно петь! Она сказала: «Ты меня научишь!» У нас дома говорили на польском, в школе я училась на французском, а на улице чаще был немецкий. Помню, как в день Победы в школу принесли большую посылку с печеньем, и нам всем раздавали. Каждому досталось по одной или по две печеньки, но это не мешало нашей радости…

* * *

Со мной всегда эта довоенная фотография. Мне два годика, я в белых ботиночках, в красивом платье маминых рук – мама была портнихой. Я рядом с Павлом, ему 12 лет, это его конфирмация, первое причастие – большой праздник у протестантов. На его рукаве белая лента, как положено. Он в костюме с галстучком. Папа тоже в костюме и при галстуке. Еще не было войны, и мы все нарядные! Карл Маркс писал об угнетении рабочих капиталистами, а когда папа умер, я получала сиротскую пенсию до 18 лет, которая больше, чем моя пенсия народной артистки Советского Союза…

Столько воспоминаний! А это моя первая военная фотография. Мне 6 лет, я пошла в школу. В семье бедно и голодно. Стараниями мамы из двух старых платьев – одно бежевое, другое коричневое – на мне новое школьное плать ице. Она мои волосики накрутила на папильотки бумажные, нашла кусочек коричневого крепдешина и сделала бант. Но я попала под дождик, бантик повис, и я сижу здесь как мокрая курочка. Мама потом чуть не плакала: «Зря я последний кусочек сахара на бантик пожертвовала». Это чтобы бантик был жестким, крахмала не было…

После Победы мы стали собираться в Польшу. У меня появился к тому времени отчим Ян Голомб, который был коммунистом, он тоже пускал поезда под откос и первым подал документы в миграционную службу. Мы оказались в огромном эшелоне, в товарном вагоне, ехали неделю, не меньше, все спали вповалку на сене…

Закончилась моя война в 46-м, когда мы приехали в Польшу. Сосновый лес, свежий воздух лечили меня. Отчим завел курочек,

и мама каждое утро давала мне свежее яйцо, и у кого-то доставали молоко. В общем, зарубцевались мои каверны в легком, заглушили мою болезнь. Но жизнь и здесь была, как во Франции – по карточкам. Про войну нельзя забыть! На уроках истории я узнала, что такое была фашистская оккупация для Польши. Почти 6 миллионов поляков погибли, детей в том числе. Фашисты издевались над Польшей в полную силу. На всю жизнь я тогда запомнила слова учительницы о том, что фашизм остался в истории каждой польской семьи. В нашей семье мамин брат дядя Феликс погиб в Освенциме, ему не помогло то, что он женат был на немке. Меня потрясла книга Зофьи Налковской[7], польской писательницы, я узнала о том, как в Освенциме детей отбирали для работы. Если дотянулся росточком до провода, то зажигается лампочка и значит, годишься для работы. А если лампочка, не зажглась, значит, мал – в газовую камеру. Война несовместима с детством! Я люблю памятник – девочка на руках у воина в Трептов-парке в Берлине. Для меня это очень символично – армия должна защищать!

* * *

Когда после окончания педагогического лицея в Польше я приехала в Ленинград учиться на психолога и пришла однажды в семью блокадников, была потрясена тем, что узнала о блокаде. Особенно меня поразила история Тани Савичевой, ее дневник и последняя запись: «Умерли все, осталась одна Таня». А ведь я сама голодное дитя войны. И вот однажды на гастролях в Горьковской области (теперь Нижегородской) я случайно узнаю, что мы проезжаем мимо кладбища, где похоронено 400 ленинградских детей и Таня Савичева среди них. Я попросила завернуть туда. И что же – там могилка на могилке. Детишки, одни детишки. И везде на оградках пионерские галстуки. Это было еще время пионеров. Там, на могилке Тани Савичевой, где увидела ее фотографию, я дала себе обет – обязательно буду петь в этом поселке для тех, кто спасал ленинградских детей, ставших моими земляками. И был концерт на лесной поляне. Собралось много народу, кто-то даже из больницы сбежал. Именно сюда, в рабочий поселок Шатки, везли голодных до смерти детишек по Ладоге, ледовой «Дороге жизни». Какую-то часть детей удалось спасти, а 140 детишек умерли. Поднялась на сцену пожилая женщина, на чьих руках умерла Таня, – 2 года девочка боролась за свою жизнь, не могла ходить и почти не видела, но хотела жить и боролась с туберкулезом.

Я познакомилась с воспитательницей, которая принимала тех детей. Их привозили на открытых грузовиках, в основном уже безнадежных – кожа и кости. И в журнале регистрации писали – «принят на довольствие», а через день, другой – «снят с довольствия». На концерте я бросила клич – открыть здесь памятник детям, погибшим в Великую Отечественную войну. И везде, где я была на гастролях, объявляла номер счета и от своих концертов делала взносы. А через несколько лет, в мае 2010-го меня пригласили на открытие мемориала и присвоили титул – «почетный гражданин поселка Шатки». То есть я – выжившее дитя войны – протянула руку невидимой дружбы и солидарности тем блокадным ребятишкам. Мы породнились…

Дети войны – целая страница человечества! Дети должны жить! Мне повезло, что война закончилась, я бы тоже не выдержала. Иногда я думаю: а моя-то война закончилась ли? Если память ее не отпускает? И – не знаю!

* * *

Вот вам еще одно военное эхо. В моем детстве не было кукол и игрушек. А за концертную жизнь мне столько надарили зайцев, кукол, мишек… Целые чемоданы! И в один прекрасный день я подумала: а ведь есть дети-сироты, которые будут очень рады этим игрушкам. Я открыла справочник, нашла детские дома. О-о-о, сколько страниц! Увидела номер 53. А мы после Франции, приехав в Польшу, жили в доме 53, на улице 1 Мая. Я позвонила директору Нине Вячеславовне Чувашевой, услышала «будем очень рады» и вызвала такси-рафик. Мой внук 5 лет: «Ты куда?» Это был Стас. Я ему: «К детям, у которых нет игрушек, они сироты». «А можно с тобой, у меня тоже есть машинки»…

Что там было! 200 детишек, сиротливо одетых почти одинаково, и так они в душу нам смотрят. Будто обручем мне горло схватило. Игрушек хватило на всех! Да, сейчас войны нет. Но этих детей недолюбили. Я тоже ребенок недолюбленный – папа умер, брат умер. У мамы горе за горем и тяжелые заботы. Мне самой надо было в этой жизни пробиваться, защищаться. И вот спустя много лет я получила долю радости запоздалую, которую мне не могла мама дать, у нее ребенок родился Юзеф. А вырвавшись в Ленинград, я зажила самостоятельно и впервые могла есть столько, сколько хотела…

Когда я помогла этим детям, я почувствовала себя вдвойне сильнее! Помню, нас со Стасиком пригласили в столовую на чаепитие, я увидела, что у них, как в армии для солдат,

алюминиевые миски, кружки, ложки. Мне стало нехорошо. Я обратилась на Фарфоровый завод. Там директор по фамилии Метелица, тоже оказалась из детдомовских, выдала нам 200 комплектов посуды – «неликвид», не самого лучшего сорта, но фарфор. Я обратилась на Металлический завод, спела для них, и они собрали подарок – ложки, вилки, ножики. Обратилась на завод имени Козицкого – телевизор подарили. На завод «Красный Октябрь» – пианино. Выступила в Ленинградском Доме торговли – и я помню, ребята такие счастливые были, когда в Гостином дворе курточки примеряли! В Америке, Израиле мне для них чемоданы детской одежды дарили. Оказавшись в Германии на гастролях, я обратилась в Красный Крест, который был тогда еще за Берлинской стеной – в ФРГ. Я туда пробралась. И они подарили 200 посылок с одеждой и продуктами, каждая минимум на 100 килограммов! Помог наш Главнокомандующий ВВС – в Восточной Германии еще был наш гарнизон в Ионсдорфе. Он выделил грузовой самолет, и я с этим богатством полетела в Ленинград! Детский дом встречал! Они рыдали, и я рыдала от счастья! Для меня это было как отмщение войне за мое обделенное детство!

Кристина Ольхова (Ксения Зенкевич), музыкант, педагог

Кристина – курсантка специального училища связи. 1946 г.

Я родилась в Варшаве в 1930 году. Мама работала белошвейкой на большой фабрике «Опус», ее звали Ольга. А папа инженер-строитель Максимилиан Зенкевич, но до начала войны он умер в 38 лет. Войну мы встретили втроем – мама, я и сестренка Людвика, которая была на год старше меня. Я перешла во второй класс, сестренка – в третий. Мне было 9 лет, Людвике –10.

Самый первый день войны для нас начался с бомбежки посреди лета и солнца. Мы в это время жили на даче под Варшавой. Помню, что там было очень красиво, и лес, и речка. У нас закончились каникулы, надо домой возвращаться, в школу собираться…

И вдруг над нами самолеты, гул… Конечно, никто ничего не понял, от страха стали разбегаться и прятаться. И в тот же день в село въехали мотоциклисты. Они заняли первый этаж нашего большого дома, всех жильцов повыгоняли. Это был деревянный

двухэтажный дом, где комнаты снимали дачники, и было много детей. Мы жили на втором этаже. Немцы шумно погуляли, напились, видимо, отметили свое вторжение, и отправились к нам на этаж развлекаться. Малышей стали выкидывать в окна. Других маленьких детей расставили на ступеньках вдоль лестницы и стали по ним стрелять, как по мишеням. Когда увидели, что детей убивают, нас стали выпихивать в окна. Мы прыгали и бежали, а они стреляли. Женщины кричат! Местные жители стали ловить нас и в дома прятать…

Кристина и Людвика в Варшаве у памятника «Детям Варшавского восстания»

А на следующий день хоронили детей, приехало гестапо, многих своих арестовали и увезли. Чьи это части были, не знаю. В составе Вермахта кого только не было, как мы потом узнали! Так началась моя война в 1939-м…

* * *

Почему-то мы не могли уехать в Варшаву, и на зиму остались жить на даче. Потом мы все-таки уехали домой, но оказалось, в городе еще хуже. Частые облавы – людей хватают, угоняют, они бегут прятаться. А у немцев все поставлено организованно! Приезжают грузовики, солдаты бегут оцеплять улицу. Отобрали – ты, ты, ты… Все! Забрали, увезли. На стенах листовки на немецком и польском. Предупреждают, что за одного убитого немца расстреляют 60 поляков, а за убитую немку – 40.

Мы с сестрой еще учимся, но нас в классе каждый день все меньше. И вот такой случай расскажу. Однажды мы с Людвикой ехали в трамвае, и на остановке кто-то выстрелил в немца, который заходил в наш трамвай. Я не видела кто, потому что места для поляков были в конце вагона, а у немцев – в начале. По трамваю сразу открыли стрельбу, и нас стали выгонять, а потом ставить вдоль стены. Меня вытащили из-под скамейки. С Людвикой мы оказались в разных концах. Рядом со мной был парень, мы стояли с краю. Он шепчет: «Бежим!» И мы побежали за угол. За нами другие побежали. Сзади, конечно, стрельба. Оказалось, я прибежала в немецкий квартал. Прямо на женщину с ребенком налетела, прошу – «помогите!» Она берет меня за руку и ведет в дом. У дверей немецкий солдат с автоматом. Она ему по-немецки: «Мой ребенок». Это была немка, я пробыла у нее весь день, она в окно следила за улицей. А вечером я к маме прибежала. Людвика была уже дома – и она сбежала…

Вообще-то многие в Варшаве догадывались, что работает какое-то подполье – все время где-то, что-то происходило и листовки на польском бросали…

В августе 44-го началось всем известное Варшавское восстание[8]. В 43-м было еще восстание в Варшавском гетто – но это другая трагическая страница Польши, после его подавления, евреев гетто отправили в лагерь Треблинка. А я – участница Варшавского восстания 44-го, как Людвика и наша мама. Жили мы на Паньской улице, дом 88. А центр восстания был на той же улице по нашей стороне, в доме 46. (В музее Варшавского восстания чудом сохранился старый уличный номер дома.)

Мы, подростки, стали помогать взрослым складывать стены из кирпичей и камней от домов разбитых, листовки разбрасывали, раненым помогали, для баррикад стулья и мелкую мебель таскали. Задания нам давали военные.

Помню, и связными были, и бутылки-зажигалки подносили. Мальчишки кидали их в окна немцам, но тут же открывалась

стрельба. Были убитые дети, и скоро эти задания отменили. А потом уже все дома вокруг нас были взорваны. Помню, осколков боялись, одному мальчику ногу пришлось отнять. Больше всего мы боялись «Берты»[9]. Говорили: «Берта» бьет, сейчас ударит». Она била огромными снарядами, это страшнее бомбежки. У нее звук сначала идет долгий. Ее за это прозвали «кровой», по-русски «коровой». Сносила все до основания, все этажи, такая страшная сила!

А восстание началось для нас также неожиданно, как в 39-м началась война. Был очень жаркий август. Мы с сестренкой приехали к тете Паулине на окраину Варшавы – это район Воля. Мы жили в центре и поэтому любили к ним приезжать – тихое предместье, красивый парк, а через дорогу кладбище. Ведь на католическом кладбище заборов нет и оград. Все открыто, мы и там бегали по дорожкам, даже спускались в старый склеп. Дверь с решеткой откроем, вниз четыре ступеньки, а там на полках в три яруса стоят раки, по-моему, медные. Одна, помню, без крышки и в ней были кости. Никто из нас, конечно, один в склеп не ходил – трусили, но любопытство выше страха.

И вот в тот день нас собралась большая компания во дворе, мы играем в «прятки». Я и Людвика сидим в кустах и следим за Павликом, это наш двоюродный брат. И вдруг из дома выбегает наша тетя с малышом на руках, кричит: «Бегите!». А с улицы уже автоматчики бегут, стрельба. Сначала Павлик упал, потом – тетя. Мы с Людвикой отсиделись и кинулись на кладбище, спрятались в склеп и просидели там два дня пока стрельба не кончилась. Мертвых уже не боялись, нам страшно было выйти – на кладбище сгоняли жителей и расстреливали. Там сейчас мемориальная доска, теперь мы знаем, что в те два дня на Воле расстреляли 50 тысяч женщин, мужчин, детей. И началось восстание в Варшаве…

* * *

До сих пор историки судят – кто виноват, почему восстали в одиночку. Я, как и большинство, считаю – восстание было обречено. Два тяжелых месяца держались. Еды не хватало. Воды не было. Медикаменты кончились. Людей становилось все меньше. Одни умирали, другие погибали. Хоронили прямо во дворе. И чтобы воду хоть какую-то иметь в эту жару, копали во дворе колодец, а вода была плохая. Когда немцы вплотную подошли, уже из подвалов нельзя было высунуться. Можно было

только под землей попасть из подвала в подвал – где ходы прокопали, где по трубам… Когда в третий раз, последний, бросили листовки и объявили – выходите, сдавайтесь, что в 6 утра будут бомбить, вы все погибните, – мама сказала: «Будем здесь погибать». Все понимали, пощады не будет. Наступило затишье непривычное, от которого тревога только больше. Мама обняла нас, мы к ней прижались. Что это было – сон ли наш последний, забытье? И вот мне 83 года, я никогда не помню снов, забываю быстро. А тот «последний» никогда не забуду! Нас самолеты разбудили. Сначала был тяжелый гул, потом появился совсем другой. Я маме кричу: «Мы будем живы, я видела сон!» И рассказываю, что видела красивое зеленое поле и какая-то женщина в белом, и мы, две девочки, с ней за руки бежим, хохочем. Лиц не видно, но я знаю, что две девочки – я и Людвика…

А над нами шел воздушный бой. Мы ждали бомбежку, а ее не было. Какие это были самолеты, чьи? Так и неизвестно. Снова непонятная тишина. А потом в подвал вошли немцы с автоматами и стали выгонять всех. На улице стояла уже большая колонна из наших, и мы встали в конце. По бокам немцы с собаками. И погнали нас через Варшаву, а домов нет, одни руины. Мы последними уходили. Можно сказать, Варшавы больше не было.

Мне трудно было идти с двумя палками для опоры. Дело в том, что нас однажды завалило, как раз после удара «Берты». На следующий день нас откопали, но я не могла пошевелить ногами, они до колена ничего не чувствовали, их массировали, но они плохо слушались. С маминой поддержкой я шла. Нельзя было не идти. Ослабевших, кто садился на землю, стреляли сразу, чтобы колонне не мешали. Привели нас в Прушков, это под Варшавой железнодорожная станция. Там было все обнесено колючей проволокой, с вышками. Загнали всю колонну в депо, закрыли ворота. У дверей поставили парашу. Когда она наполнялась, двое мужчин выносили в сопровождении солдат. Пока мы все находились вместе – дети, женщины, мужчины, в том числе военные. Кажется, через день или два пришли сортировать нас. Есть не давали, но мы и не хотели уже, привыкли к голоду. Помню, немец поднимает голову за подбородок, смотрит на меня и выносит решение, на глаз. Документов у нас нет. И вообще ничего у нас не было, в легких платьицах, и все! Худые, истощенные. Мы давно не мылись, не причесывались, вши просто сыпались. Когда меня отправили налево, мама тихо ко мне подтолкнула Людвику. Когда пришла мамина очередь, ей указали направо – там были взрослые и молодые. Вот тогда нас

и разлучили! Навсегда, как оказалось. Когда их уводили, все так кричали, мы тоже маму звали, она крикнула нам: «Держитесь всегда за руки!» (Вот держимся до сего дня, несмотря ни на что.) Увели их в барак, что дальше с ними стало, не знаем, А нас привели к «скотским» вагонам без крыши и повезли. Оказалось, в Бжезинку, это Освенцим-2 – немцы переименовали в Аушвиц[10].

Помню, сделали один раз остановку, чтобы не устроили в вагоне туалет. И тут меня больные ноги подвели, я сорвалась с насыпи и далеко улетела. Потом карабкаюсь к вагону, тороплюсь – уже все там, как бы не уехали, а один солдат взял и ногой спихнул меня назад, я только потом поняла, что у меня был шанс бежать. Но он не знает, что у меня там сестренка! Я снова карабкаться стала. Когда до него поднялась, он тогда со злостью как поддаст мне сапогом, и я влетела в вагон, решил «дура девчонка».

* * *

Привезли нас, наголо обрили, пропустили через карантин и выдали одежду лагерную с нашивкой «п» – поляки, черная буква на красном треугольнике. И началось – все дети в обязательном порядке посещали «ревир» – медсанчасть. Мы просовывали руку в окошечко, и медсестра брала кровь. Перед этим обязательно измеряли температуру. У меня бывала она повышенная, тогда я не ходила. Если кто-то потерял сознание и упал, его укладывают на топчан, и он потом должен сам очнуться. Если не пришел в себя, то потом в бараке мы его и не видели. Наш барак был, видимо, детский, кроме детей и подростков были мамы с маленькими детьми. Они нам помогали во всем. Ведь даже плакать не разрешалось…

* * *

В декабре 44-го в лагере шум поднялся. Стали рушить крематории. Их было 8. Теперь мы знаем, что в день сжигалось до тысячи заключенных. Освенцим не просто большой лагерь – он огромный. Потом и нас стали перевозить в другой лагерь, как мы узнали потом – в Нойенгамме, это возле Гамбурга. Зима была очень холодная. У нас на ногах деревянные «шузы» на голые натертые ноги. И поверх платьев мы закутывались с головой в наши тонкие одеяла. Мои бедные ноги я все-таки отморозила. Кровь по ним и так плохо проходила. В вагон нас натолкали так

много, что сначала мы только стояли. Но холодно было все равно. На этот раз вагон был с крышей! В дороге несколько человек поумирало – от холода ли, от голода или от того и другого. Помню, те, кто был постарше, умерших относили туда, где были щели и сильно дуло. Мы сидели на корточках на полу, на котором сена не было, только доски. Я так закоченела, что выйти сама уже не могла. Нас принимали заключенные в полосатых робах. А солдаты стояли подальше. Но сначала заключенные выносили мертвых – их считали, записывали. У немцев все под расчет! А потом и до нас дошла очередь. Заключенные помогали выходить, меня пришлось выносить. Тот мужчина, который меня нес, тихо спросил: «Откуда?» Я ответила: «Аушвиц». Немцы услышали и собаку спустили. Собака повалила нас, мы кубарем катимся в снег. Меня другой подхватил, потому что встать не могла. А куда тот человек делся, не знаю. Нас в черные машины закрытые погрузили и привезли в лагерь, в барак. Кто-то до нас там жил, потому что помню, не матрасы, а одна труха была. Немцы к нам уже относились лояльно, потому что их гнали. Вопрос – что с нами делать? Ведь огромное количество заключенных, всех не уничтожишь! Нас же еще не принимали, куда нас привозили! Отодвинут двери, посмотрят, потом закроют, и мы стоим на путях, замерзаем.

Потом везут дальше. И так уже не издевались, как раньше, если ты болен, то – на уничтожение.

В этом лагере нас поместили сразу в «ревир» – медицинский барак. Пришел немец, который всех осматривал и давал назначение. С ним были еще немки. У меня и ноги, и руки были отморожены. На ногах раны незаживающие. И у Людвики ноги тоже поморожены, и сердце болело, она вообще бессильная. Ей свое лечение – таблетки, мне свое – уколы и мазь. Хорошо было то, что там дежурили заключенные женщины. Среди них были две польки – Зося и имя второй девушки не помню. Они узнали, что привезли детей с Варшавского восстания и тогда они у нас старались вместо других дежурить. Если где-то умерли, то их порции нам приносили. Старались все время хоть чем-нибудь подкормить. Мы истощенные были еще с восстания. Цинга не давала есть, боль во рту не давала и воду-то пить. А они говорили: «Надо, потихоньку, надо». Даже носки нам достали! И все время говорили: «Вставайте через силу, немцы больных не любят». На обходе с нас требовали часто – «присесть-встать» или какие-то другие упражнения. Людвика меня ругала: «Вставай, или в печку захотела, не там, так здесь!» И я вставала, брала метелку, чтобы видели – я не безнадежная…

* * *

И вот апрель 1945-го! У нас появился «Красный Крест» – англичане! Все из бараков вышли во двор, радуются, кричат: «Свобода! Немцы удрали!» Переодели нас в новые пальтишки, ботиночки, санобработка, конечно, была. Все стали группироваться – надо же добираться домой. Кого там только не было – французы, немцы, поляки, русские… Мы поехали с польской группой. Довезли нас до Варшавы. Зося с подругой дальше поехали. Нашли мы нашу улицу Паньскую, оставили маме записку: «Мама, мы здесь. Людвика и Кристина». Там много записок было – все ищут друг друга! Ну, мы пошли поискать поесть. И… решили свою судьбу. Набрели на воинскую часть красноармейскую. У них полевая кухня. Там еще человек 10 детей было. Нас спросили, просто показали – «есть хотите?» Мы согласились. Нас накормили. Потом маму пошли искать. Мамы не было. В какую-то щель забрались, переночевали. Потом опять пошли к ним покушать. И так несколько дней. Мамы все не было. И кто-то из командиров сказал нам – раз негде вам жить, и у вас нет никого, надо ехать туда, где вас будут учить, лечить и крыша будет над головой. Собрали комиссию, выдали нам справки вместо паспортов, сказали, что ты Кристина будешь Ксенией, а Людвика – Лидией. Сколько нам лет мы знали и так – мне уже 14, а сестре – 15. От этой самой воинской части набралось нас круглых сирот на целый вагон плацкартный. И повезли нас в Россию. Была в Бресте остановка, проверка документов, а дальше – Бобруйск. Высадили нас в Бобруйске, и поезд поехал дальше. Что делать, ничего не понимаем. Вокруг все разбито, как в Польше, и трубы печные торчат. Куда идти? Русского языка не знаем. Забились куда-то, переночевали, а утром увидели церковь, пошли туда – как в Польше в костел бы пошли. Священник бородатый встретил нас, повел в каморку, накормил, ночевать оставил, он по-польски понимал и немного говорил. Строго-настрого нам посоветовал не рассказывать никому свою историю – ни про восстание, ни про концлагерь. Мы спрашивали: «Почему?» Он отвечал: «Потом сами поймете». Наконец нашли нужный нам исполком, узнали, что для русского детдома мы переростки. Нам объяснили – вам надо в училище, и язык там учить, а раз ноги отмороженные, надо ехать туда, где тепло – на юг, а не на восток. Короче говоря, оказались мы, как нам советовали, – в Краснодаре, в училище связи. Добирались мы туда на крыше вагона. По-другому уехать было невозможно, все возвращаются с фронта. Нам помогали туда забраться, у теплой трубы пристраивали, подкармливали. На станциях нас

милиция забирала – мы выглядели младше своего возраста, а потом отпускала – девать нас все равно некуда. И мы опять ехали на крыше. Так до Сталинграда доехали. Мы про него еще ничего не знали, но многое увидели! Наверное, через месяц мы все же доехали до Краснодара и снова пришли в исполком. В училище мы сначала учили язык. И вообще старались очень! Кроме того, мы ходили в вечернюю школу, у нас ведь не было общего образования. С отличием окончили училище, и нам разрешили самим выбирать точки назначения. Мы выбрали Сочи. Через 3 года работы на Центральном телеграфе мастерами по ремонту мы решили учиться дальше. Людвика захотела уехать в Москву и поступить в Институт связи, ей дали общежитие. А я заболела музыкой, причем давно. И еще я с детства хорошо рисовала и прошла творческий конкурс в Ленинграде. Но! Пришла я все-таки в Московское музыкальное училище им. 60-летия Октябрьской революции на прослушивание. Мой музыкальный слух оценили! Только я не могу сдать специальные экзамены и мне жить негде. Я им так надоела, что в итоге мне разрешили посещать занятия, как кандидату…

* * *

P.S.

Только чтобы стать полноценной студенткой, ей мало было сдать сольфеджио и этюды. У «кандидата» не было заветной московской прописки. Но это уже совсем другая история. С хорошим концом! Конечно же, она сдаст экзамены, но сначала дойдет до «приемной» ЦК – в 19 лет!

Мне кажется, если судьба сохраняет человека после всех кругов ада, у него нет преграды на пути к цели! И тут память стреляет расхожей фразой из Маяковского: «Гвозди бы делать из этих людей…» Образ? Да! Которым мы не без гордости бросались. Но зачем гвозди? Разве Человек хуже?! Сам поэт – дитя своего времени, ни при чем! Вся атмосфера XX века – века войн и революций была пропитана духом эксперимента над Человеком. XX век ушел в историю, а эпидемия войн ушла? Я очень сильно надеюсь, что поумневшее Человечество хотя бы на один век устроит себе мирную передышку!.. Маму они продолжали искать через Международный Красный Крест. Ответы были, а мамы не было! Ее следы, вероятнее всего, потерялись в лагере Равенсбрюк, куда привезли 12 тысяч женщин после подавления Варшавского восстания. Накануне освобождения этот женский лагерь стал лагерем смерти. Большинство документов

было уничтожено, и имена тысяч узниц остались неизвестными. Однажды вместо ответа сестрам пришло письмо из КГБ: «… больше просим не искать». Их и самих время от времени проверяли «специальные органы», а как же – все-таки иностранки… из детского барака Аушвица.

Из письма Натальи Новиковой [11] (г. Рига)

Первое сентября 1941 года. Уже больше двух месяцев идет война, но 1 сентября в нашем городе Шахты Ростовской области не отменяется. Школа нарядная, новая, через квартал от дома. Яркий солнечный день и синее небо. Вижу себя в батистовом платье цвета бордо в мелкий горошек с новым коричневым портфелем. Мы – первоклашки, все счастливые и нарядные, садимся за парты. Молодая учительница Мария Федоровна говорит нам что-то доброе и хорошее. И вдруг сильный гул перекрывает ее слова. Первый налет на наш город. Одни из нас оказались под партами, другие так и сидели, застыв в ужасе. Бежать нам и прятаться все равно некуда. К счастью, налет был коротким и школа не пострадала! Мы уходим из класса и вместе со старшими идем в шахтерский поселок Петровский собирать металлолом для будущего оружия Красной Армии. Я помню, как тащу ржавые кастрюли, ведра. А перед домами так много распустившихся цветов и мои любимые анютины глазки…

* * *

Июль 42-го. Наши войска отступают. Взрывают и затопляют шахты, чтобы не достались немцам, жгут в центре новые здания. Горит новый театр, только что построенный перед войной. Жгут архивы. Город в черном дыму. Бабушка плачет и сжигает нашу небольшую библиотеку, есть приказ – жечь домашние библиотеки. В городе паника, эвакуация. Маме 33 года, нас у нее трое. Мне 9 лет, сестре Жене 6 и младшая Людочка родилась под бомбежку 5 ноября 41-го – помню, как отец бежал с мамой из роддома, в руках у него был сверток с нашей сестричкой.

Итак, июль 42-го. Отца уже с нами нет, он воюет. Людочке 9 месяцев, и она больна дизентерией. А вечером последний эшелон для эвакуации. Наша любимая бабушка простерла руки, как птица крылья, и сказала маме: «Не пущу, если умирать, то вместе». К нашему ужасу, потом узнали, что этот эшелон разбомбили. Среди погибших была мамина подруга, это случилось на глазах у детей, остались три девочки без матери…

* * *

На рассвете наши войска оставили мой родной город Шахты, а в полдень по главной улице нашего красивого южного города мчалась серо-зеленая армада мотоциклистов. Бабушка нам строго наказала – со двора ни на шаг!

А на второй или третий день оккупации по Донскому переулку гнали колонну наших военнопленных, человек сто. Что меня поразило, так это то, что некоторые были босиком и в нижних белых рубашках. Шли они понурые и серьезные, но были и другие – в каком-то шоковом веселье. Женщины и дети смотрели на них со страхом и ужасом. Один из пленных бросил к ногам бабушки кошелек: «Возьми мать, пригодится аттестат лейтенанта». Не успел отправить своей семье – так мы думали…

* * *

А осенью по липкой черной грязи, по нашей Пролетарской улице гнали уже другую колонну наших пленных. Они все были босы, раздеты и оборваны. Женщины бросились к ним с кукурузными початками и лепешками, и мы увидели, как они голодны, потому что дрались из-за еды. А конвоиры били чем попадя и наших женщин, и измученных пленных. Крик, слезы, ужас! Такое не забудешь до конца дней своих! Для немцев, видимо, это была простая акция устрашения. Спустя несколько лет я узнала, что в наших окрестностях было три концлагеря для военнопленных и одно еврейское гетто.

Помню, однажды к нам в дом ворвались немцы, бегло пробежались по дому, сняли со стены часы-ходики и перевели стрелки. Я впервые услышала немецкую речь, и она мне не понравилась – это же речь врага! Потом они быстро что-то написали на входной двери и ушли. Дедушка объяснил бабушке, что они нам поставили «берлинское» время, после чего он снова переставил стрелки. А наша добрая соседка Анна Яковлевна Головина, которая училась в гимназии еще до революции, перевела немецкую надпись – «Занято для офицера».

И до осени, пока надпись не смыли дожди, дедушка показывал эту надпись новым претендентам. Так мы избавлялись от непрошеных постояльцев.

* * *

Наконец появился в нашем доме немецкий офицер. Судьба нам послала приличного человека. Он молча сидел в своей комнате и не докучал нам. Зато денщик его, молодой и вертлявый, то ли словак, то ли поляк, часто общался с дедушкой на ломаном украинском. От него мы узнали, что наш постоялец австриец, хороший человек и воевать не хочет. Мы, как и положено детям, вертелись под ногами у взрослых и все впитывали, хотя взрослые старались нас оберегать…

Сейчас сравниваю себя 10-летнюю с сегодняшними детьми и думаю, как мы рано тогда взрослели! А сколько во мне было непримиримости к врагу! Как только «наш немец» приходил домой, я брала свою книжку и читала нарочно громко: «…я к Климу Ворошилову в армию пойду», пока бабушка не спрятала эту книжку.

А однажды денщик сказал, что всем офицерам к Рождеству пришли из дома посылки. И нас, трех девчонок, австриец угостил – каждой дал по печенью. И хотя мы всегда очень хотели есть, я на его глазах тут же бросила свое печенье в печку. Бабушка сразу же отреагировала – врезала мне по тощему заду, а австриец вздохнул и ушел в свою комнату. Видимо, был человек интеллигентный, образованный и все понимал, и, конечно, не был фашистом. Сам же денщик пожаловался дедушке, что его рождественский обед – две клецки в мутной воде, я сама видела. А дедушка, посмеивался и подначивал. Еще дедушка сказал, что у нас стоят части на переформировании, а потом их погонят на Сталинград. С улицы доносились часто печальные мелодии губных гармошек, как будто они чувствовали, что их отправят на смерть…

* * *

До наших детских ушей доносились события в городе: повесили на центральной площади мальчика-пионера, выследили подполье и расстреляли, согнали оставшихся стариков, чтобы запустить затопленные шахты, ничего не вышло, все говорили – саботаж у дедов…

Ну и я решила отличиться! Январь 43-го. Немцы злые. В нашем квартале была солдатская кухня. Мы уже осмелели и одни ходили кататься на горку напротив дома. Сижу в санках, а мимо идут два солдата. До сих пор вижу напротив моих глаз на крышке котелка два маленьких квадратика, видимо, маргарин и мармелад. Я взяла и толкнула ногой котелок так, что обед оказался на снегу. До сих пор вижу бешеные белые глаза немца

и занесенный над моей головой тесак. Если бы не второй солдат, который меня спас, оттолкнув бешеного, я бы сегодня не писала это письмо…

Бабушка видела все это в окно. А я, вскочив во двор, бросилась под мой любимый терновый куст и лежала там, пока не перестало меня трясти. Столько лет прошло, а до сих пор вижу сны – я убегаю от немца, прячусь, а он гонится за мной и стреляет в спину…

Почти год мы жили под непрерывными бомбежками! Летом 42-го нас «утюжили» немцы, январь – февраль – «наши родненькие», как мы их между собой называли. Так что часто пришлось отсиживаться в окопчике во дворе. И первое слово, которое сказала наша Людочка, было не «мама», а «зенитки» – то, что она чаще слышала…

* * *

Февраль 43-го. Немцы отступают. Говорят, что выставляют из наших людей заслон. К нам прибежала добрейшая Анна Яковлевна с новостью – идет мобилизация – забирают оставшихся мужчин до 60 лет. Дедушка родился в 1890-м, ему 53 года. Чудом на подоконнике оказался мой пузырек с чернилами и ручка. Анна Яковлевна схватила паспорт деда и быстро исправила 1890 на 1880. Я все это вижу, но пока ничего не понимаю. Бледная Анна Яковлевна размахивает паспортом, чтобы высушить чернила, а в калитку уже стучат полицаи. Посмотрели паспорт и не забрали дедушку, мы на всякий случай его спрятали в сарае. Но за ним снова пришли, а бабушка сказала, что его уже забрали. Спустя годы дедушке выдали новый паспорт. В Шахтах он был человеком известным – Чернышев Евдоким Андреевич – один из первых вагоновожатых, а в 30-е годы они были как космонавты…

* * *

И вот наступило Освобождение! Февраль 43-го года. Ликование и радость! Ушел из моего сердечка страх. Мы, все, ребятня и взрослые, высыпали на центральную улицу Советскую, где строем шли «наши родненькие» прямо из боя! В обмотках, в грязных шинелях, запомнилось, что у одного почему-то полполы было оторвано. Лица грязные, закопченные, глаза сияют! И вдруг мы видим, как пушку тащит верблюд. Для нас это был забытый

цирк. Мы бежим по улице и в восторге кричим: «Верблюдик, верблюдик!»

И представьте, этот верблюдик прошел через всю мою жизнь. В 1975 году по телевизору идет хроника войны. И вдруг я вижу нашего верблюдика в рассказе о войсках Донского фронта. Я тут же рассказала моим мальчикам об этом эпизоде из военного детства. Через семь лет, в 1982-м, открываю «Новый мир», стихи Марка Лисянского «Кузнечик» про нашего верблюдика. Оказывается, всеобщий любимец от Сальских степей дошел с войсками до Кенигсберга и погиб при штурме, подорвался на мине. Похоронили его в той же воронке с почестями, как солдата, под салют…

Нахлынуло еще столько воспоминаний, но, думаю, хватит…

Наталья Абрамова, редактор, сценарист

Наташа с няней

Что делать с нашей памятью? Идет с нами по жизни. Никуда не уходит… Казалось бы, мне 4 года, а я помню это утро – Арбат, я со старенькой няней Пелагеей за ручку иду гулять, но сначала мы должны зайти в булочную на углу. Все, как обычно. И все не так! Я, ребенок, чувствую это каким-то непостижимым образом – по другому идут люди, у них другие лица, они молчат

и спешат. Если я до сих пор это помню, значит, меня та улица сильно удивила – мне уже никто не улыбался…

Вокруг меня на разные голоса звучит новое слово «война». А следом еще одно – «бомба». Первый налет на Москву случился, как известно, 22 июля 1941 года, ровно через месяц после начала войны. Мы стали бегать в бомбоубежище, чаще всего ночью, а иногда днем…

Еще помню себя с мамой в Валентиновке, под Москвой. Но и там от бомбежки мы вместе с другими бегаем в какой-то ров, в нем мокро и очень скользко. Над нами гудят самолеты и все говорят о каких-то «осколках» – еще одно новое слово. Все боятся этих осколков…

У мамы спектакли, и мы снова в Москве. Когда бомба попала в Театр Вахтангова, в нашем бомбоубежище решили, что она упала под окнами нашего дома в Денежном переулке, 12[12], где я живу под крылом семьи Вахтанговых. Это притом, что наш переулок ближе к Садовому кольцу, а театр на середине Арбата, дом 26. В ночь на 24 июля 41-го от прямого попадания бомбы театр был разрушен, там погиб замечательный артист Василий Куза, который в это время дежурил. Вся труппа, кроме основной работы, по очереди дежурила и в фойе, и на крыше. Вообще вся Москва дежурила на чердаках и крышах, спасая от зажигательных бомб свои дома.

Только эта бомба разрушила и мою маленькую жизнь, и жизнь нашей семьи, и жизнь театра! Но разрушение здания не означало разрушения самого театра, который очень непросто создавался, да еще с такой любовью и верой в искусство гениальным Евгением Вахтанговым, я бы сказала, – четой Вахтанговых! Ну а если сохранить труппу, будут жить и спектакли, а это значит, будет жив и театр!

* * *

И вот в нашей семье состоялся совет – 14 октября театр должен ехать в эвакуацию. Срочно! (Официально эвакуацию в Москве объявят через день.)

Глава семьи, Надежда Михайловна – вдова Евгения Багратионовича для меня больше, чем бабушка. Да я никогда и не называю ее бабушкой – она «Надин», которая балует меня. Других внуков у нее пока нет. В 42-м в эвакуации появится Женька, его назовут в честь знаменитого деда. Сегодня внук известный художник, академик. Он родится в Омске…

Надин была добрейшим человеком, и допускала в мою

детскую комнату кошек, для которых тихонько от няни открывала дверь на «черную лестницу». Пелагея безуспешно враждовала с Надеждой Михайловной.

В памяти раннего детства осталось – утром просыпаюсь в моей комнате, а вокруг меня на одеяле пушистые комочки…

И вдруг! Все так круто изменилось! Мою любимую собачку Джулю не берут, «не могут». Я плачу, меня уверяют, что ее устроят в добрые руки, а когда мы вернемся – «да, мы очень скоро вернемся, это ненадолго», – Джулю заберем.

Кстати, Надин никогда не спускалась в бомбоубежище, но первой появлялась на пороге подвала и объявляла: «Граждане, отбой». Я ее обожала, как и моя мама, с которой они стали близкими подругами до самого ухода Надин. Благодаря Надежде Михайловне и ученикам Вахтангова, среди которых был Володя Балихин[13] – я потом еще вернусь к нему, – атмосфера студийности и теплых семейных отношений долго сохранялась в театре. А уж в войну-то как это было важно!

* * *

Моя мама, балерина Большого театра, тоже должна уезжать со своим театром. (Когда мы будем в эвакуации, в Большой тоже попадет бомба.) Но на семейном совете решено, что мама поедет с вахтанговцами, как член семьи. Она восемь лет жена сына Надин, молодого архитектора и художника Сережи Вахтангова. (Кстати, маму с Сергеем познакомили Рубен Симонов и Мейерхольд.) Сергей не мой отец, но для Надин это не имеет никакого значения. Я дочь Горчакова[14]. И все же Надин, Надежда Михайловна – до конца жизни – самый родной нам человек. Роднее родных!

Хорошо помню, как в последнюю ночь у нас собралось много народу. Скорее всего, выезжали ночью от нас, и все прямо в одежде вповалку легли на полу. На том самом полу, где мною от рождения изучена буквально каждая половица в этом любимом доме, включая кабинет Вахтангова, где за перегородкой кухни костюмы первой «Турандот», где повсюду в горшках любимые Надин примулы, где много для меня дорогого. Это была последняя ночь моего счастливого детства. Помню, с собой я взяла плюшевую обезьянку Фоку. Потом она перейдет к Женьке. Няни с нами уже нет. Я сама в 6 лет окажусь в роли няни…

Ехали мы долго. Я, конечно, подолгу торчала у окна вагона и на всю жизнь запомнила огромные поля ромашек. Иногда поезд стоял посреди такого поля. Все ждали Урал, и он потряс своей

красотой, стояла к тому же золотая осень.

* * *

Омск тогда был в основном деревянный. Нас радушно встречали, расселяли по домам. Мы поселились в деревенском доме, где была очень большая комната. Взрослые повесили на веревках занавески и таким образом поделили большую комнату на маленькие. И сразу оголодавших за долгую дорогу артистов, власть города пригласила на прием. Я знаю, что гости, увидев роскошный стол, просто остолбенели. Ну а когда столбняк прошел, они уж постарались хозяев не обидеть. Вот только каждого ждали тоже голодные дети и старые родители. И была придумана какая-то история с перегоревшим светом. В результате гости ушли не с пустыми руками и нам что-то перепало…

В Омском драматическом театре стали идти по очереди спектакли местной труппы и вахтанговцев. Создали и фронтовую бригаду! И премьеры тоже были! Мама сразу начала работать в цирке хореографом и участвовала в номерах на арене. Я немало времени провела с мамой в цирке. В Омск был эвакуирован знаменитый цирк Корнилова. У них были слоны. Вот от слонов я и не отходила. У меня даже сохранилась цирковая афиша – аттракцион, где есть мама Катя и лилипуты со слонами. Особый запах цирка стал мне родным. Помню, как лилипуты очень нежно ко мне относились и потихоньку иногда мне доставался маленький кусочек сахара – от слонов. Помню слониху Джильду, которая перед выходом на арену писалась. Мама много разных историй рассказывала про цирк, про слонов. Она была удивительной рассказчицей, а еще хорошо пела и аккомпанировала на фортепьяно…

* * *

Помню, однажды мама у меня на глазах убрала на высокую полку баночку с сахарным песком, и я совершила страшное воровство. Я нашла момент и как-то добралась до этой баночки. Было мне лет пять, шестой. Я налила водички в маленький тазик и высыпала туда весь сахар. Он растаял, и я принялась есть его ложкой. Когда мама пришла, увидела пустую баночку и меня очень довольную, она заплакала. Оказалось, что это богатство она хотела мне растянуть на 2 месяца.

И второе воровство я совершила, но уже не одна!

По соседству с нами жила еврейская семья. Был у них свой религиозный праздник и мы, постоянно голодные дети, увидели, что там за забором что-то такое интересное раскладывают на пеньках. А вдруг, это еда? Ведь по логике – если на улицу выносят, значит, этого у них много! Мы подождали, пока все уйдут в дом, пробрались по-пластунски среди лопухов, собрали это явно съедобное и в шароварчики попрятали, больше некуда было! Оказалось, они сушили мацу. Ох, и колючая она была, пока назад ползли, исцарапались, зато наелись. Но что было потом! А потом этот сосед, с большой колоритной бородой человек, пришел к нам в дом и стал всех угощать мацой. Оказалось, он видел в окно, как мы воровали. Чувство стыда было такое, что до сих пор от него нельзя освободиться…

У нас не было абсолютного голода. Еда у нас какая-то была, но ее так не хватало! Все время хотелось есть! В свободное от спектаклей время весь театр был на барахолке. Предлагали вещи в обмен на еду – туфли, платья – кто что, в надежде на удачу – ну хоть бы чего-нибудь, прошу прощения, пожрать! Помню, тетя Целюся Мансурова[15] выносила простыни. Дядя Андрюша Абрикосов[16] раскладывал гуталин и гвозди…

И я с Надин ходила тоже. Мы носили селедку, порезанную на кусочки, – ее давали иногда по карточкам. И еще у нас были разные пуговицы для продажи, мы их срезали со своей одежды, а больше нечего было предлагать.

Я часто терялась в этой безумной толкучке, так много было народу. Народ хотел есть. Народ шумел, предлагал, хвалил. Каждый надеялся, что сегодня ему повезет – он поест, а завтра… все повторит сначала.

Как-то раз нам пришли посылки. Фронтовой филиал театра узнал, что мы голодаем, и решил нас поддержать. Я теперь не скажу, что там было, но наша посылка была большая и хорошо помню радость взрослых…

Мы, военные ребятишки, тогда выглядели заморышами. И мальчики, и девочки носили сатиновые черные шароварчики, из которых торчали ножки, как спички. Это летом. Такие мы остались на любительской фотографии. Ну и, конечно, из-за вшей нас периодически стригли наголо, а я мечтала о косах. Я даже на одной фотографии дорисовала себе длинные косы. Зимой у меня была шубка, долгоиграющая. И это хорошо, потому что зима 41-го была суровая. И зима 42-го такая, как положено в Сибири! Пришлось померзнуть!

А разве можно забыть, как местные бабушки научили нас вязать? Это оказалось просто! И мы тоже вязали варежки для фронта, чем я, например, очень горжусь! Мне было 6 лет, и я

трудилась для фронта…

Вспоминаю, как меня оставляли нянчить Женьку. Когда он не спал, то ползал на полу, завязанный в какие-то тряпки. Я же, как настоящая няня должна его и кормить! И вот тут, обманывая себя, каждую ложечку его манной кашки я долго нюхаю, заношу себе в рот и делаю вид, что остужаю – о, какое это было искушение, и только потом даю Женьке, а он требует… (Теперь мы смеемся над этим, когда вспоминаем, и до сего дня он зовет меня единственной сестрой.)

* * *

Вечерами, когда не было спектакля, взрослые собирались за большим столом, играли в преферанс, а я любила сидеть под столом. Там было хорошо и уютно, будто в теплом домике. Помню, как рука Надин находила меня под столом и давала черный сухарик. Есть хотелось всегда! Иногда к сухарику добавлялась долька чеснока – это было лекарство. Моя мама с цирком гастролировала по Иртышу. Они прямо на пароходе давали представления для тех, кто жил по берегам. И им за это давали лук, чеснок… Мама это привозила из поездок, мы ждали и все ели чеснок, спасались от цинги.

Чтобы я легче засыпала, у Надин было свое средство – маленький кусочек черного сухарика. Когда мы вернемся в Москву, я долго не смогу обходиться без этого сухарика…

* * *

Про омское житье-бытье я еще много могу рассказывать! Память об эвакуации – это на всю жизнь! Спасибо Галине Коноваловой, моей любимой вахтанговской актрисе и подруге мамы, за ее книжку, где она описала нашу жизнь в Омске. Книжка называется «Это было недавно, это было давно».

При первой возможности мы вернулись в Москву – 12 сентября 1943 года. Середина войны. Кто-то жил без нас в нашей квартире. Помню, что все было в чернилах. Джульки не было, никогда.

Мы, маленькие вахтанговцы, ходим с судками в пункт выдачи столовой, стоим в очереди и приносим домой еду. Ее немного, но она есть. Взрослым некогда – репетиции, спектакли, выезды. А мы им помогаем! И хлебные карточки отовариваем, где тоже

стоим в очереди. И вот еще – смешное и грустное. Мне 7 лет. Я несу в судке скромную порцию еды, очень осторожно ступаю по булыжникам тогдашнего Арбата и вдруг, запнувшись, падаю. Верхняя миска судка, где лежал винегрет, вылетает на мостовую, и я замираю от горя! Вот до сих пор вижу этот вожделенный винегрет на камнях Арбата. (Теперь он покрыт плиткой.) Собирала я его пополам со слезами…

* * *

Кстати, у меня уже есть и второй дом, почти рядом – в Большом Левшинском переулке. А два дома лучше, чем один, поняла я! Моя комната у Надин по-прежнему в моем распоряжении. Хотя мама, я и мой отчим – артист театра Вахтангова Владимир Балихин, а для меня просто «Вава» и самый лучший человек на свете, живем в одной квартире вместе с Павлом Антокольским. Это дом с коммунальными квартирами, построенный специально для вахтанговских артистов. (В молодости Антокольский был увлечен театром, но все же прекрасно, что он стал поэтом!) Дядя Павлик и мы – почти родные люди. Помню его домработницу Варвару Васильевну, мою любимую «рязанскую бабу», которой я помогала писать письма в деревню сестре. Она диктовала мне и при этом ругала сестру, которая каждый год рожала по ребенку. Ругала она ее непотребно, а я так и записывала. А потом во дворе делилась знаниями. Но она еще могла и меня подкормить и разрешить вместе искупать Дымку – пуделя дяди Павлика, и даже сложить стишок – ведь с кем поведешься…

* * *

А еще – и это было спасение! мы – маленькие вахтанговцы научились дружить – на всю жизнь! Я просто должна назвать всех, с кем театральные гены навек связали такими узами, что прочнее всяких кровных. И еще нас связала война. Анишка Масс, Анишка и Мишка Горюновы, Валька Шихматова, Наталишка и Катюшка Захавы, Андрюшка Куза, Женька Рабинович, Маринка Меньшова, Аленка Щукина, Мишка и Кирка Рапопорты, постарше – Женька Симонов, Лешка Толчанов…

И вот чего бы не хотелось оставлять за кадром, так это одно наше детское коллективное приключение! Известный день – 8 мая 1945 года! Канун Победы! От дяди Павлика Антокольского наша

компания узнает, что завтра объявят День Победы! И мы придумали! Закрыли железную калитку к нам во двор и встали на посту. Когда после спектакля люди пошли домой, мы каждому говорили: «Вот дайте копеечку, тогда узнаете, что завтра будет». Нам давали копеечку, и мы доверяли нашу тайну. В итоге мы собрали на порцию «мороженого»! Побежали в «сотовый» магазин (его знают как смоленский гастроном) и там увидели хлеб!!! Мы купили без хлебных карточек(!) два малюсеньких кусочка черного хлеба, упакованных в прозрачные бумажки! Он пах, как «бородинский» хлеб, которого мы еще не знали. Кусали аккуратно по-честному, абсолютно счастливые.

А назавтра мы отрывались, конечно, по полной программе – конец войне!

* * *

Только сегодня не могу не признаться, что та война все еще длится во мне, где-то прячется в подсознании ее эхо. Вот и строчки написались сами собой:

К войне возвращаюсь, и к детству,
И к детству опять, и к войне,
Навечно такое соседство
Как будто назначено мне.
И каждую боль, и несчастье
С войною сверяю теперь,
А с детством – и радость, и счастье,
И невосполнимость потерь…

Валерий Золотухин, народный артист России

Валера Золотухин с мамой, 9 лет. Чемал – противотуберкулёзный санаторий

Я появился на свет за считанные часы до объявления войны – 21 июня 1941 года. В селе Белый Исток Алтайского края. Как мне мама рассказывала, когда меня принесли на первое кормление, и нянечка со мной вошла в палату, она сказала: «Бабоньки, война!» И вся палата заревела, поднялся вой, плач. У многих мужья и братья были в военных лагерях, к войне готовились. И мой отец тоже был на военных сборах. Вот так я встретил начало войны у груди моей мамы Матрены Филипповны, Царство ей Небесное. Так сказать, вкусил материнское молоко с ее горькими слезами. Отец меня увидел, когда мне было уже два года. Он пришел по ранению в 43-м. Я этого, конечно, не помню. А вот когда он вернулся в 46-м, помню хорошо. Мы с моим братом старшим кинулись к его чемоданчику, а там, кроме военного кинжала, – ничего! И вот я помню это разочарование: «О-о-о, а у него и подарков-то нет!». Как будто мы ждали с фронта подарков, а их не оказалось…

Долго, помню, висела эта шинель отцовская. Он ее берег, и если мама перевешивала, то он очень сильно по этому поводу неистовствовал. То есть она должна была висеть на одном

заветном месте. Отец пришел с шестью ранениями, но, к счастью нашему, оказался жив…

* * *

Помню, как мама меня привязывала на нашем крылечке за ногу, перед тем как уйти в поле. Это был, наверное, год 45-й, отца еще не было. И вот я сочинил свою первую песню: «Э-э, герой, на разведку боевой. Мама будет плакать, слезы проливать, а папа поедет на фронт воевать». Такой у меня был автобиографический репертуар. И вот те, кто не мог работать в поле, награждали меня кто стаканом молока, кто яичком, кто кусочком хлеба. Может быть, они мне давали, чтобы я замолчал и душу им не рвал. Но мне, видимо, казалось, что им нравится моя песня, раз они меня угощают. И я еще больше старался…

* * *

Валерий Золотухин (4-й класс) в центре с мамой. Слева от мамы (сзади) брат Володя

Валерий Золотухин с двоюродным братиком Володей

Я помню День Победы, когда нас с братом мама хотела приодеть. А у нас не было даже штанишек. И брат не соглашался надевать соседские девчачьи, а мне было все равно, поскольку я был мал. Помню, как брат сильно шумел, но все равно мама вот так нас одела и повела в центр села. А там на полуторке стояли люди и палили в воздух из всяких охотничьих берданок. И все так радовались, кричали и смеялись. И мы, дети, от них не отставали…

А война прошла через нашу жизнь очень серьезно. Все детство нашего поколения, весь быт так или иначе были связаны с теми, кто пришел с фронта…

И вот я помню, как однажды я пел своему дядьке Ивану Федосеевичу Шелепову, который вернулся с фронта без ноги. Мы приехали к нему в гости, они уже посидели, выпили, и вот он мне говорит: «Артистом хочешь быть! Спой мне “Степь, да степь кругом…”», как пел Сергей Яковлевич Лемешев, тогда я тебе скажу – будешь ты артистом или нет». Я сказал, что не знаю эту песню, а знаю другую – «Шумел сурово брянский лес». И запел. Отец рыдал, и дядя Ваня слез не прятал, потому что там: «Громи захватчиков, ребята, командир кричит им вслед…» – и так далее. А почему он попросил «Степь, да степь…», потому, что, когда он лежал в госпитале безногий, он не хотел возвращаться к своей Дуне домой – мол, зачем я такой ей нужен! Он рассказывал: «Лежу, гляжу в потолок, и кружится на нем наше село, и вот бреду я по степи… вдруг слышу по радио Сергей Яковлевич Лемешев – «Степь да степь кругом, путь далек лежит…» И вот он меня тогда воскресил, как из петли вынул, – говорит дядька, – потому, чтобы слышать его голос, надо было остаться жить». И он вернулся, и еще стал хорошим кузнецом. Мне тогда казалось, что они плачут оттого, что я так хорошо пою, а это тема войны их волновала и не давала жить спокойно…

Нина Лагутина (Хомякова), штукатур-строитель

Моя малая родина – село Знаменское на Тамбовщине. Большая крестьянская семья. Это по традиции на таких семьях и держалось хозяйство. Я была девятой. После меня еще родились мальчик и девочка. То есть всего у моей мамы Марины Архиповны и отца Ивана Алексеевича было 11 детей, но двое умерли от дифтерии. Старшая, Вера, рано вышла замуж и жила далеко от нас – в Новосибирске. А за ней уехала и Шура, окончила медучилище перед самой войной, и ее направили в Забайкалье, в госпиталь – это начинались бои на Халхин-Голе. Остальные – «семеро по лавкам» были в семье.

Я родилась в голодный 1931 год, и к началу войны мне было 10 лет, к этому возрасту крестьянский ребенок уже помощник в хозяйстве. Деревенское детство – это всегда работа, а уж военное – так покоя не было. Помню, как провожали мужиков на фронт. Все дети высыпали на улицу, как будто праздник какой, взрослые говорили, мол, повоюют немного и скоро вернутся, хорошо бы к уборочной…

* * *

Из наших трех мужчин никого не проводили на фронт. Самому младшему, Вите, было 3 года. Брату Володе – 16. Его призовут через 2 года на Прибалтийский фронт, а через год он попадет в госпиталь с туберкулезом. Его долго будут лечить, но вылечат, он окончит там курсы бухгалтеров и после войны вернется домой.

Ну а третий наш самый главный мужчина лежал в сельской больнице с двусторонним воспалением легких. Думаю, не очень-то было чем тогда лечить. Запомнился папа в последний день, он лежал у окна, глядел на дождь и сказал маме: «Вот увидишь, Мариша, какой нынче будет урожай, дождь теплый!» Мы с Любой остались на ночь с мамой и отцом в палате. Мама нам что-то постелила на пол, а проснулись мы от маминого плача, папа как будто спал. Было это *4* июля…

* * *

До войны мама была учетчицей – в деревне грамотный человек в цене, – после ухода мужиков ее поставили заведовать током. Мы за нее очень боялись, в голодное время опасно отвечать за зерно. Ведь ток с пшеницей – это фактически военно-стратегический объект. Без хлеба ни жить, ни воевать! А вокруг голодные деревни, потому что сдавать государству мы были обязаны даже то, чего не имели в хозяйстве, – это по разнарядке. Я хорошо помню мамины тетрадки, да и наша Надюша как раз перед войной окончила 7-й класс и пошла работать статистиком. Я могу назвать цифры – вот, например, в год с одного двора – молока 280 литров при жирности 3,8 %. Если жирность меньше – 3,2 %, то 320 литров. Чем меньше жирность, тем больше молока. Яиц 75 штук. Шерсти 7 кг. Если нет овец, то чем-то другим отдавали. Мяса 40 кг, а если у кого нет живого мяса во дворе, то должен его одолжить. Вот, помню, дядя Артем Гурчев сдает быка на мясо, а это центнер или больше, и мы все идем к нему записываться, а потом выплачиваем ему кто овощами, кто шерстью… Даже яблони все были переписаны. И телят, и ягнят всех посчитают, корова еще не отелилась – уполномоченный все запишет. Весной по 16 кг картошки – это два ведра – сдавали для быка-производителя, надо было его подкормить, чтобы он коров в стаде огуливал.

Помню лозунг на амбаре: «Все для фронта, все для Победы!» Помню женщин на току, которые деревянными лопатами перекидывают зерно, чтобы оно просыхало. И по две женщины стояли на молотилке, крутили ручки из последних сил. Пылища там стояла! Косынками до глаз лицо завяжут, но от пыли никуда, да еще солнце печет, а передохнуть некогда – уборочная. Зерно беззащитное лежит, подотчетное. До войны, помню, женщины на току пели: «…и Калинин самолично орден Золушке вручал», а в войну не до песен! Как стеклянные ходили, пухли женщины. Я знаю – соберут сливки с молока, маслица скатают шарик, продадут и телогрейку купят, или детям валенки, или что-то на ноги себе. Знаю, что женщины маленькие мешочки с зерном горстки на две прятали, домой несли, чтобы лепешки испечь вместо хлеба. Хлеба ведь у нас не было совсем. Конечно, боялись, но выживать-то надо было и при этом страну кормить!

На один трудодень давали по 100 граммов ржи или пшеницы, и только в уборочную! Я помню, как я молола на ручной мельнице, которую сделал отец. Это два деревянных круга. На верхнем – отверстие, туда засыпалось зерно, а на внутренней поверхности каждого круга набиты осколки от чугунной сковородки. И вот так зерно мололось, ручкой крутишь, получается мука, вкусна-а-я…

Ой, столько всего в памяти, как подумаешь! На женских плечах колхозы держались, матери наши – вечные кормилицы, и детей надо накормить, и армию, и город… Это ж в войну частушки появились «Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик». Помню, сторож дед Алехин как-то не вышел на работу, и мама осталась за него, она была очень ответственная. Так волки ночью подходили, хорошо, что она знала, как дед их отпугивает – очень они не любят, когда по лезвию косы железякой бьют да скребут. Но у деда и собака хорошая была, а мама совсем одна. А в другой раз, когда опять сторож не пришел, мама попросила меня остаться с ней, и мы на скирде ночь провели. В ту ночь приезжала телега, кто-то знал, что Алехина не будет или специально его напоили. Ох, страшно было! И мы ничего не могли сделать. Мама сказала: «Прибьют, потому что за такое тюрьма, если не хуже». Лошадь даже не остановили, чтобы не шуметь. Она сделала круг, и кто-то прямо на ходу зачерпывал пшеницу и кидал в телегу.

Потом стали возвращаться мужчины с фронта, и мы уговорили маму уйти с тока. Тогда ее назначили заведовать фермой. Бедные наши мамы и мы, лишенные детства!

Кроме семиклассницы Нади, у нас Мария в 41-м окончила 9-й класс и хотела дальше учиться, но война не дала. Весь их класс призвали на трудовой фронт. Они ездили на окопы, а потом прошли курсы шоферов. Помню ее трехтонку-«самовар», который дровами заправлялся, и сама она – ключ на ногу за голенище сапога, всегда бегом. В уборочную зерно на элеватор возила с другими ребятами…

А главной хозяюшкой в доме была 12-летняя Люба, я – в помощниках. Старшим некогда – работы в колхозе невпроворот. Мы и младших нянчили – Серафиму с Витей, и полы драили добела мокрым веником да кирпичом, и половики в снегу стирали, летом на реке полоскали, и в огороде пололи, поливали. А еще колхозу помогали: продергать и разредить свеклу, просо поднялось – прополка, подсолнухи созрели – «головы» срезаем и надеваем на коренюшки, чтобы комбайну помочь, – уж такая техника была. Потом это все отвозили на маслобойню…

* * *

В школу мы ходили с октября, а сентябрь работали. Наша учительница Мария Ивановна Кавешникова пройдет по домам, соберет нас, и мы идем лен топтать. Нам его подвезут к реке, свалят, где мелко, чтобы мы не утопли, а потом из этой соломы свясла наделаем для снопов. Начинался сенокос –

мы со взрослыми ночью копнили, скирдовали граблями. Много всякой работы было. Наша мама и вязать успевала, и шить. Мы ведь растем, обносились совсем. Сошьет нам по одному платьишку, в нем и ходишь, другого нет, постираешь и снова наденешь. Ведь ничего не было, и белья не было, ну совсем ничего!

Снег сошел, мы идем искать подножный корм, как и животные. Ели щавель конский, дикий лук, чеснок… Мама сварит щи из крапивы, забелит молоком, чугун картошки – по 3–4 на каждого и следит, чтобы у младших не брали или скажет: «Нука поделись с Симой или Витей». Хлеба нет, и не каждый день лепешка. Кто нам выжить помогал, так это Манька-кормилица. Редкая у нас была корова. Белая, очень рогатая. Не любила в стаде ходить, по огородам я ее искала. Пастух на пастбище ей ноги связывал. Молоко давала жирное, по ведру утром, днем и вечером. И по двойне телят приносила. Мы на нее просто молились!

Лакомством у нас был разный жмых – из подсолнуха, льна, конопли. Как наши желудки выдерживали, непонятно. Счастьем было, когда созревал горох, мы туго подпоясывали свои платья и бежали на гороховое поле. Там за пазуху наберем стручков, в подсолнухах спрячемся среди васильков и поедаем этот самый сладкий на свете продукт. Боялись объездчика дядю Артема, у него кнут ой-ей! И ничего, что с нами были Сашка с Ниной – его дети, всем бы досталось! Но, слава Богу, ни разу не попались. Поля не от детей охраняли, конечно…

* * *

Помню, каждому дому определяли участок на свекольном поле. У нас семья большая и нам целых 75 соток свеклы полагалось обрабатывать – полоть и все прочее, а осенью убирать – сначала дергаем, обрезаем ботву, складываем в кучи, потом загружаем в фуры, которые отвозят свеклу на сахарный завод. Этими повозками управляли старшие, быки их слушали, но и мы тоже идем рядом, покрикиваем на быков цоб-цобе…

Помню, как в засуху выходили батюшки с иконами и молитвами на поле, просили дождя, и, что интересно, после них дождь был! У нас хорошая земля, чернозем, но засушливый район.

В школу мы, как правило, ходили до морозов – не в чем было, ну и после морозов. Чернила делали из шелухи черных семечек и заливали прямо в отверстия на парте, куда чернильницы ставят,

но чернилок не было. А наши чернила вместе с нами замерзали, – в школе было холодно, и *4* класса сидели вместе…

Помню, в центре села на столбе было черное радио. Голос Левитана слушали, красивый очень, и концерты часто были – заслушаешься так, что рот откроешь…

От нашего дома шли окопы. Помню наших солдат, у них был блиндаж так подальше, и орудие стояло наготове. Нас не бомбили, а вот город Котовск – 20 км от нас, бомбили так, что стекла дребезжали.

* * *

Потом у нас появились пленные немцы. Они жили в церкви, которую разбирали и строили на этом месте отделение милиции. Очень красивая была старая церковь! Так вот, только вечер, коров пастух пригонит, немцы идут по деревне просить молока. Ходили они в деревянных бахилах. Кружки протягивают – «матка, млеко». Фотокарточки своих семей показывают, улыбаются, Мы близко не подходили, боялись. Мама, помню, когда им нальет, а когда на нас покажет: «Видишь, какая у меня орава, тоже ждут молока…»

А в 16 лет нам выдали паспорта и… по «оргнабору» на восстановление народного хозяйства! Привезли в подмосковное Одинцово, на кирпичный завод № 6, где была у нас директором Ольга Ивановна Жарова, и поселили в общежитие. Там я работала, потом начала учиться на штукатура, в итоге имею 5-й разряд. И горжусь тем, что отстраивала послевоенную Москву, довелось и в Кремле поработать. За меня выучились мои дети, слава Богу, им война не помешала!

Павел Петров (Фернандо Кейрос), художник-аниматор

Мне было четыре с половиной года, когда началась Великая Отечественная. Но я уже два года как осиротел – мой отец Антонио Франциско Фернандес Родригес де Оливеро, член Коминтерна[17], один из секретарей компартии Португалии, уехал воевать в Испанию. Мама моя Зинаида Петровна училась тогда в ИФЛИ (Институт философии, литературы и истории) и сотрудничала с Коминтерном, поскольку была членом КИМа[18]. Там они и познакомились, и поженились. На все мамины запросы об отце был один ответ – пропал без вести…

Мне важно рассказать об отце потому, что это непростая история. Отца уже нет, но его чтят и помнят в Португалии. После смерти Сталина, когда «железный занавес» стал опускаться, я узнал, что мой отец, хотя и был ранен на испанской войне, остался жив. Он смог приехать в Москву только благодаря Давиду Сикейросу, известному мексиканскому художнику и скульптору, которого пригласили в Советский Союз. И мой отец постарался приехать с ним в качестве журналиста. В Мексике он был известен как Антонио Родригес. Он разыскал нас с мамой, и мы встретились. От мамы я знал, что письма он ей писал на чистейшем русском. Это было в 30-е годы, когда он сидел в тюрьме во Франции, как коммунист, и, кстати, рисовал там газету на тонкой бумаге на разных языках. Он знал семь европейских языков. Из парижской тюрьмы он бежал по чужому паспорту на имя испанца Кейроса…

Получается, что задолго до 22 июня 41-го я оказался ребенком войны.

* * *

Помню первые бомбовые налеты на Москву. Под звук тревоги я «бежал» у мамы на руках в бомбоубежище. Иногда на чьих-то плечах, иногда меня брали под мышки, что мне очень не нравилось. Мы жили недалеко от Садового кольца в Капельском переулке, позади знаменитого Склифа. Из окна того дома я впервые увидел дирижабль, который меня совершенно потряс своим видом и размером. Кроме бомбоубежища, где было не протолкнуться от народа, я военную Москву больше не помню. А вот Омск, где мы с мамой оказались в эвакуации, помню

хорошо. Я ходил в пятидневный садик, а выходные, которых у мамы в отличие от меня не было, проводил в госпитале. Помню мою красивую маму в военной форме младшего лейтенанта. Она была политработником – читала раненым газеты и военные сводки, писала письма за тяжелораненых, розыском занималась. Я по маминым газетам и читать научился, приближалась моя школа. Помню раненых в коридорах прямо на полу, и лежачих, и сидячих. Знаю, что не хватало мест и их не успевали оперировать. Помню желтые пятна на бинтах, запах гноя и едких лекарств. Этот запах я не мог забыть много лет, да и сейчас помню. Каждый раз, когда я в кино вижу военный госпиталь, всегда думаю: ну как он не похож на тот, который помню я!

Замерзших людей на улицах Омска помню, они лежали кто в чем, и почему-то их называли киргизами. Может быть, это были действительно киргизы.

Еще помню в нашем подъезде ребятню в лохмотьях. Зима их загоняла. Они были сами по себе, никому не мешали и неизвестно как выживали. Очень голодно было всем. Кости с мясокомбината были в нашем доме как праздник. Зато летом было и счастье – от Иртыша шел небольшой рукав, где можно было купаться, и стоял на сваях ангар, служивший кинотеатром. Дети и взрослые набивались туда до отказа. В основном там шла военная хроника, но не только. Подарок союзников-англичан – два цветных фильма «Багдадский вор» и «Джунгли», которые мы смотрели много-много раз.

* * *

Когда фронт откатился на запад, мама с госпиталем оказалась в Уфе. Помню моих башкирских сверстников, которые ходили в тулупах до земли, и у каждого была нагайка. В Башкирии я не помню того голода, который был в Омске. В Уфе я увидел первых немецких военнопленных. Двоих из них помню до сих пор – Ганс и Иоахим. Они у меня ничего не просили, но мне их было ужасно жаль. Я приносил им кое-что из хозяйского огорода, а иногда рыбу на куске хлеба. Ели они быстро и жадно. Улыбались и благодарили, называя меня «камрад» и «фройнд».

* * *

В Москву вернулись еще до окончания войны. Хорошо помню,

как во дворе дома, где мы жили, каждый день прибавлялись мои сверстники – это из эвакуации возвращались семьи. Дворовую жизнь того времени не забыть. Кто-то из родителей сделал нам футбольный мяч из тряпок и обшил его кусочками кожи. Игрушек у нас не было. Но у девочек были самодельные куколки, а у нас, мальчишек, волшебные коробочки. И чего в них только не было: от разного оружия гильзы и даже патроны, красноармейские звездочки, эмблемы войск, картинки с немецким и нашим оружием… Мы менялись всем эти добром. Помню, как появился у нас мальчик на костылях – где-то под городом Электросталь он залез в разбитый танк, у которого неожиданно повернулась башня и раздробила ему ногу Тогда были такие кладбища военной техники, свезенной на лом. Еще один мальчишка показывал всем желающим настоящий шрам на языке – разрезал, облизывая найденную консервную банку от большой голодухи. Помню еще такое приключение: одному мальчишке досталась хорошая наша каска солдатская, но без подшлемника. И мы, наивные, решили проверить ее на прочность – каково было нашим солдатам в ней? После первого же удара по каске (кто-то придумал, что надо проверять ее топором) мальчишка «подопытный» рухнул без сознания. Слава Богу, все обошлось. Но я помню этот ужас…

* * *

Из отрадных воспоминаний сохранились наши набеги в Парк культуры. Мы всей дворовой командой ехали от метро «Кировской» (теперь «Чистые пруды») до «Парка культуры» на выставку немецкой трофейной техники. Начиная от главного входа в парк до Нескучного сада, стояли минометы, «пантеры», «тигры», «юнкерсы», «мессеры», разные орудия…

Там стоял дежурный, который гонял назойливую ребятню. Но если мальчишка говорил, что его отец погиб или пропал без вести, то ему дозволялось посидеть в кабине самолета или в танке. Ясное дело, я сидел во всех кабинах по праву. Война шла к концу и технику все время обновляли, поэтому и мы там пропадали целыми днями…

* * *

До 16 лет я был Фернандо Кейрос, сын пропавшего без вести на испанской войне. Помню, один мой учитель спросил: «Кейрос, ты еврей?» Я ответил: «Нет, я португалец». Он сказал: «Лучше бы

ты был евреем!»

А потом у меня появился отчим Петров Иван Павлович, который стал мне очень близким человеком. После окончания войны до 49-го года он работал «с немецким населением» в советском секторе Берлина в должности заместителя коменданта. Немцы удивлялись – «неужели герр майор родился в Сибири» – он владел немецким языком так прекрасно и к тому же имел берлинский выговор.

Так вот я ему верю, когда он говорил мне, что немцы как никто осознали пагубность войны и ее чудовищную разрушительность. В духе того пафосного времени он призывал беречь людей от войны, говоря, что это и есть его завещание.

Вот только после его ухода у меня появился вопрос. Я сравниваю их воспоминания – мамы и отчима, которого я, насколько помню, всегда называл папой. Так вот лучшей поры, чем предвоенное время, у мамы не было. Члены Коминтерна жили вполне благополучно, и с отцом у них была большая любовь. Он ее звал Зиния. В письмах из Франции рядом со словами любви есть слова о том, что «мы с тобой не себе принадлежим, а нашей борьбе!». Они верили: всеобщее счастье наступит рано или поздно, надо только побороться за него.

У моего же отчима лучшие годы были послевоенные. Он часто вспоминал Берлин, когда они с немцами сидели, говорили, выпивали и пели. Почему именно там ему было так хорошо? Меня это удивляло, маму – нет. Может быть, голубоглазый блондин Иван Петров, майор госбезопасности, имел немецкие корни? А катастрофа побежденной родины заставила его страстно возненавидеть войну? Почему я так думаю? Дело в том, что перед своим уходом он бредил в больнице на немецком языке. На родном языке?..

Во всяком случае, я даже и не сомневаюсь, что замполит, агитатор и пропагандист Страны Советов служил идее абсолютно искренне.

Ярмила Горватова, детская медсестра

Я родилась в Чехии, в городе Пльзень в 1933 году 29 марта. К началу Второй мировой войны мне было 6 лет, я была младшим ребенком в семье. Старшая сестра Адела 11 лет и 9-летний брат Вацлав, названный в честь отца, уже ходили в школу. Отец наш был садовником. Мама занималась детьми и домом. Когда мне исполнился всего 1 год, наша мама сильно заболела – у нее была перфорация желудка, и мы скоро остались без нее…

С приходом Гитлера в марте 1939 года Чехия, как известно, стала протекторатом Германии. И хотя чехи не служили в немецкой армии, но все мужчины были мобилизованы для работы на эту армию. Мы знаем, что несколько сотен тысяч мужчин были отправлены на работу в Германию, на заводы и рудники. Возможно, из-за нас – троих сирот – отца оставили дома. Его призвали на железную дорогу и поставили бригадиром сцепщиков вагонов.

Но спустя какое-то время в результате несчастного случая мы потеряли и отца. Точнее сказать, война отняла его у нас и сделала полными сиротами. Дело в том, что по ночам на железной дороге работы проходили в полной темноте, потому что боялись налетов авиации. Из-за этого режима светомаскировки и погиб трагически мой отец – садовник Вацлав Горват, которому было всего лишь 33 года…

Отвезли нас троих сирот в городок Карлштейн в «сиротинец» при костеле Девы Марии. Наш сиротский дом был как раз под высокой скалой, на которой стоит средневековый готический замок, названный в честь короля Чехии Карла IV. Это очень красивое место! У нас было две спальни на 30 человек, в одной мальчики, в другой девочки. Сестра-воспитательница запомнилась своей чрезмерной суровостью к нам. Дети ее не любили. Аделе сразу пришлось работать в костеле – уборка, мытье каменных полов, уставала она очень. А потом и я стала ей помогать. Ели мало, но еда была – хлеб и суп. Молитвы перед едой и после еды…

Помню наше маленькое тесное бомбоубежище, где мы прятались при налетах. Чтобы всем там поместиться, мы стояли навытяжку, как солдатики, плотно прижавшись друг к другу.

И мы, конечно, росли, а одежды и обуви у нас не было. Босые ходили от апреля до октября. Зимой – «древаки», то есть башмаки деревянные, которые уже давно не носят. Но каждый из нас

понимал одно – выжить надо, только бы выжить…

И вот неожиданно в моей судьбе появляется добрый человек – прихожанка костела Девы Марии пани Барбора Флеглова. Однажды глядя на меня, она не выдержала и привела меня к себе. Я была очень худым ребенком, сильно истощенным, так что она решила, что у меня начинается туберкулез, и собралась меня лечить. Но у меня не было туберкулеза, а была дистрофия. У пани Барборы детей не было, и я стала ее единственным ребенком. А мне она заменила родную маму, дала возможность учиться, я стала медсестрой. В 19 лет вышла замуж, родила двоих сыновей. Сейчас думаю: смогла бы я без нее выжить? Не знаю…

Брат Вацлав после войны в 17 лет уехал во Францию. Ни его, ни Аделы уже нет. А я живу в Праге и приезжаю в «Белый крест» в Карловы Вары, где могу пожить среди моих ровесников под присмотром врачей. Это дом военных ветеранов. Здесь живут и дети войны, мои друзья пережившие войну, а вернее выжившие в ней…

P.S.

Мои собственные авторские впечатления не могу оставить «за кадром», они имеют прямое отношение к детям войны.

Их, как и в России, все меньше, процесс не остановить! Но есть милосердие к тем, кто пережил войну. Не вернуть ни подполье, ни восставшее население, ни истребленную интеллигенцию, но есть еще свидетели – дети войны и ее участники – те, кто сражался в составе 1-го Украинского фронта и освободители Чехии, поднявшие мятеж накануне Победы…

* * *

Кроме того, что уже много лет есть в Чехии два подобных центра, «Белый крест» открыли 5 лет назад в Карловых Варах. Это дом-отель для ветеранов. Его «ржедитель» Павел Мацек. По-чешски «ржедитель» – руководитель, директор. Но я, бегло взглянув на визитку на чешском, прочла – «родитель». И была в полном восхищении (надо ли объяснять почему!). Конечно, родитель, подумала я, а как же иначе? У этих «детей» снова должен появиться родитель – заботливый и внимательный! Светлоликое доброе интеллигентное лицо. Мне успели тайно шепнуть, что он «очень хороший человек», что было и так очевидно после первой минуты общения. Притом что у нас много схожих слов с чешским языком, в беседе с Ярмилой я не могла обойтись без его помощи! Оказалось, что Павел имел «4»

по русскому языку, когда русский был обязательным языком в школе. Теперь – английский и немецкий. Конечно, Павел Мацек здесь не один, у него 20 помощников. Есть еще медсестра Гелена Стрельцова, улыбка которой буквально кладет на лопатки, с первой же минуты близкий человек! А секьюрити Петр – сама расположенность и участие! (Наш «ЧОП» – нечто другое.) В таком окружении, хочешь не хочешь, будешь стараться соответствовать! И как мне показалось, их старания взаимны.

В «клубной комнате» закончилось кино, и я увидела сотоварищей Ярмилы, моей симпатичной героини, такой домашней и моложавой, полной скромного достоинства.

Марта Коутна сама представилась – «91 год и 4 месяца». Белая блузка, аромат французских духов, почти прямая осанка. В прошлом учитель музыки в детской школе, дочка румынского посла в Чехии, которого Германия отправила на фронт. Но в мирном детстве Марта успела поучить в школе русский язык.

Супружеская пара – адвокат Милош Коцман 90 лет, серьезный, молчаливый, крепко опирающийся на трость, и его жена Зузка Подмелова, хрупкая, улыбчивая с очень живыми глазами, передвигается легко и как бы непринужденно с помощью двух полукостылей. Оба они прошли гетто и концлагерь Терезин. Теперь там мемориал. Этот концлагерь на болоте был первым в истории человечества, к тому же он был интернациональным. Среди его узников были и русские.

Лора Расска. Это – наша! Пожалуй, самая молодая. Спортивного вида, острая на язык. Вацлав Гавел, тогдашний президент Чехословакии, посетив Чернобыль сразу после катастрофы, пригласил пострадавших к себе, в свою страну. Лора – из них. Со временем она вышла замуж за чешского ветерана. Когда он заболел, они поселились здесь вместе. Лора ухаживает за ним.

Что меня удивило и порадовало – мои знакомцы живут днем сегодняшним. Ярмила сказала: «Война – это стресс, не надо жить со стрессом». А Марта Коутна как-то очень легко (чтобы не сказать легкомысленно) о том же: «Я думаю, что там ничего нет (она подняла палец над головой), я живу сегодня, а буду ли завтра – неизвестно, поэтому я буду жить сегодня!» Потом улыбнулась и, взяв меня под руку, отправилась провожать. Посреди рассказа о себе она вдруг остановила меня: «Никто не может мне ответить на вопрос: где был Он (палец над головой), когда гибли невинные дети? Все это я девочкой видела своими собственными глазами».

В ее мудрых и все еще красивых глазах отражалось так

много – прожитая эпоха и мука вечных человеческих вопросов. Молчала и я, глядя на голубые купола соседствующего православного храма Святых апостолов Петра и Павла.

Из письма Тамары Тетериной (г. Москва)

Отца призвали на фронт в самые первые дни войны. Родители наши Иван да Марья Тетерины расставались впервые. В начале войны в нашей семье было 6 детей. Я была третьей, мне 11 лет, старшему, Вале, – 15, а младшей, Жене, – 2 годика. Через два месяца после ухода папы 2 сентября 41-го родился седьмой – Боря. А через неделю 9 сентября пришла похоронка…

Нас уже бомбили и обстреливали. Несколько раз в нашем Вознесенье Ленинградской области официально объявляли эвакуацию, но она почему-то все время отменялась. И вот 19 сентября последние баржи должны отбуксировать с рейда реки Свирь. Мама была в полном отчаянии, плакала, говорила, что никуда не поедет и пусть все ее дети с ней погибнут. На правах старшего в семье Валентин заставил маму идти на папин судостроительный завод и просить машину, чтобы перевезти нас на последнюю баржу до 14 часов. Только мы высадились, баржа отчалила. Помню, с нами была семья директора завода Громова Сергея Сергеевича, который не отправил семью заранее, как делали другие.

* * *

Больше месяца мы были в пути. В конце ноября нас привезли в Татарию в поселок Затон им. Куйбышева на реке Бездна южнее Казани. Здесь уже было много эвакуированных семей вместе с судоремонтными заводами из Москвы и Херсона. Жилья в поселке для нас не хватило, и мы сначала жили на барже. А потом нас поселили в Ново-Мордово – колхоз «Красный водник» (теперь «Красная слобода»).

Заболели корью младшие – Стасик и Женя. Двухлетняя Женя умерла…

Жизнь наша военная – голод и холод, мы раздеты и разуты. Местные, чем могли, делились, поношенные одежда и обувь нас выручали. Обувь – это лапти с сапожками-стеганками, зимой в мороз – отличная обувь, но не в сырую погоду. От снега до снега ходили босиком, ноги закаленные, особенно подошвы, которые не чувствовали ни песка, ни камней. А что самое невероятное – нас разыскал отец! Тяжело контуженный, он был подобран отступающими частями. Его отправили в госпиталь, а дальше…

он воскрес из мертвых и нас нашел!

Вместе со старшим, Валей, отец ушел на судостроительный завод, который перешел на военное положение…

* * *

С мая 1942-го по сентябрь 1944-го к нам в школу приходил бригадир колхоза, старенький дедуля, объяснял нам, что колхозу нужна помощь, не хватает рабочих рук, приглашал на посильные работы детей от 8 лет. Что мы делали? Мы очень добросовестно работали! Вот по пунктам:

1. Прополка озими от желтой сурепки.

2. Прополка и прореживание свеклы и моркови.

3. Сбор гусениц с капусты. Если они попадут на листья до завязи, то капусты не будет. Каждому из нас выдавали ведра с древесной золой и ставили в начале длинного капустного ряда. Мы проверяли каждую сторону листка, и бригадир нас очень хвалил, потому что урожай получался великолепный. Был грех за нами, когда попадался почти созревший вилочек, мы, встав на колени – руки-то от гусениц грязные, по очереди откусывали от него, а потом верхние отогнутые листья снова возвращали на место.

4. Сбор огурцов и помидоров, где мы их ели досыта. Это большой плюс, но и самая тяжелая работа – два ведра на коромысле доставить на приемный пункт, который был далеко. Мне было 12 лет, а брату Славе – 9, он собирал, а я носила. Как давит коромысло на мои худые плечи, помню хорошо, хотя ведра, конечно, были неполными.

5. Работа в ночь – вязать снопы за косилкой. Опять же брат собирал скошенные ряды, а я вязала жгут для вязки снопа и сам сноп.

6. Работа в ночь на гумне во время молотьбы. У молотилки стояли женщины, запускали снопы в машину. А мы в паре со взрослым перелопачивали сноп – солому двурожковыми деревянными вилами (бянками). Метров на двадцать мы выстраивались, чередуясь, взрослый – ребенок. Нами были довольны, а особенно бригадир восхищался нашим отношением к работе!

7. Уборка картошки. Опять мы в паре с братом. Я подкапываю оба наших ряда, Славик собирает в ведро. Потом носим на приемный пункт и высыпаем в ящики. А женщины уже грузят на телеги. Сначала картошку возили на лошадях, но когда их призвали на фронт, тягловой силой стали быки. Помню,

был огромный бык-производитель Ревок, мы его очень боялись потому, что он признавал одного хозяина – завфермой, она его вырастила. Сначала привод на молотилке крутила пара лошадей, и пары менялись. Ну а потом их сменил один Ревок. Завфермой сама приводила его и первое время с ним работала, пока Ревок не привык. А потом у него бока ввалились, голова понурилась, и мы его не боялись, он позволял себя гладить. В конце концов надорвался Ревок и пал бедняга. Как же его жалели все, оплакивали!

* * *

Вот еще памятный случай! Лето 44-го. К нам в поле приехали местные власти и привезли американские гостинцы специально для детей, работающих на фронт. Каждый получил пакет сладостей со словами благодарности. Мы положили пакеты в свои тряпичные сумки и продолжили работу. Я со Славиком, рядом два брата Галанины, тоже из нашего Вознесенья, за ними Валя Федосеева. Когда стали собираться домой, у Галаниных оказался один пакет. Паника! Решено – проверять всех. Второй пакет нашли у Вали – мы знали, что дома у нее маленькие сестренки. Я не помню, просила ли она прощения, но больше с нами на работу она не выходила…

* * *

Оглядываясь назад, вспоминаю, что самым страшным для нас был 43-й год, когда местные власти перестали отоваривать хлебные карточки на нас – «иждивенцев». По 600 граммов хлеба давали только работающим на заводе по спискам. Как и чем выжили – один Бог знает! Самый младший, Боря – ему было 2 годика, почему-то хлеб называл «выги». Помню, худой, маленький просит у меня хлеба, я говорю: «Нет у меня выги». Он ручонки разведет и повторяет: «Нет выги, нет выги…» Он не плакал и не просил больше одного раза, будто все понимал. Как же он, малыш, терпел! Сердце сжималось, глядя на него.

Голод 43-го был особенно жестоким! Рабочие завода, которые буквально спали на рабочем месте, не покидая территории, писали в Казань о том, что на детей не дают хлеба. Приезжала комиссия и уезжала с тушами баранов. Если писали в Москву Калинину, письма стараниями начальника почты оказывались на столе директора местного завода. И только когда Сергей Сергеевич Громов, директор Вознесенского завода, опустил письмо от рабочих в почтовый ящик в Москве, все изменилось! Выехала комиссия, был суд и решение – «25 лет лишения свободы или – передовая. Трое осужденных – директор завода, начальник снабжения и почтовый цензор выбрали передовую, а запасы продовольствия у них были конфискованы. Мы ожили, на детей стали давать не только хлеб, но какой-то черный сладкий рулет. А кроме хлебных карточек каждому ребенку талон – порция похлебки в рабочей столовой. С нами в очереди за похлебкой теперь стояли две дочки одного из осужденных. И в школе стали давать по четвертинке ломтика хлеба, совсем тоненького. Я и брат не ели, несли домой младшим…

* * *

В конце 44-го освободили наше Вознесенье, и мы вернулись домой, отца направили восстанавливать судоремонтный завод. Вернулись на пепелище, ни одного жилого дома, только руины среди печных труб. При отступлении немцы полностью сожгли наш старинный городок, где когда-то по приказу Петра Первого поселились на Онеге лоцманы.

Нам предложили военную землянку в лесу, с печкой. Но мы так умоляли родителей остаться на дебаркадере. А в ту землянку заселилась многодетная семья Горденовых. Я помню дощечку у входа – «Землянка разминирована». Но когда затопили печку, тогда все и произошло – снаряд был спрятан в дымоходе. Вся семья Горденовых погибла. Это могли быть мы…

Вообще много народу подрывалось. Дороги были разминированы, а стоило свернуть… Но кто считал мирные жертвы, пока шла война! Рядом в городке Подпорожье нашелся дом, где были стены и крыша, а окна можно было пока «зашить» досками. Там и зимовали. (До сих пор там «зимует» моя младшая сестра.)

* * *

Помню, еще в Татарии мне для школы сшили платье – купили на рынке белую простыню и покрасили, вышел грязно-зеленый цвет. Но ничего, вечером постираешь, у печки высушишь, погладишь, а утром в школу. В Подпорожье я нашла трофейные парусиновые туфли 39-го размера, а мой был примерно 34-й. Я подвязывала их веревочками, чтобы не потерять. В них и бегала зимой по льду в школу, а осенью нас перевозил через Свирь баркас. Однажды я простудилась и с двусторонним воспалением легких попала в больницу. От высокой температуры я теряла сознание. Доктор предупредил маму, чтобы готовилась к худшему. Но при столовой держали пять немецких трофейных черно-белых буренок. Их молоко по рецепту врача давали дошколятам-дистрофикам. А мне уже 14 лет. И тогда врач «взял грех на душу», он на неделю отнял часть молока у малышей. И четвертинка парного молока вместе с лечением помогла мне…

А потом тот же доктор Девятов Борис Николаевич, светлая ему память, спасал нашу маму! Он был один на всех – и по домам ходил, и лечил в больнице, для которой соорудили барак на скорую руку. Очередной мамин приступ малярии при ее истощении мог быть последним. Страшно вспомнить – ее трясет, бледная как смерть и кровь горлом почти полтаза. Я еле живая после больницы к отцу на работу – «мама умирает»! Отец забежал за врачом и с ним к маме. Борис Николаевич, как увидел ее, даже сорвался матом на отца, что довел мать шестерых детей до такого ужаса. Он забрал ее в больницу и фактически спас маму! Он же тогда уговорил отца взять ссуду 7 тысяч рублей как будто для жилья – уже начали выдавать ссуды на строительство. Но мы об этом не знали и очень переживали, не понимая, откуда появились продукты, откуда деньги на них, на что отец пошел ради мамы и семьи? Вокруг разруха и голодная жизнь, а у нас масло и прочая еда. Когда мама поправилась, отец ей признался. И потом несколько лет выплачивал эту ссуду и мучился оттого, что не может мне помочь, когда я училась уже в Ленинграде. Весь наш 7-й класс поступил в Ленинградский строительный

техникум, потому что мы решили – стране сейчас нужны строители. Кроме маленькой стипендии около 100 рублей и продуктовых карточек, таким как я, не имеющим материальной поддержки, давали ордера на промтовары. Но это уже послевоенная история!

Много можно вспоминать, но надо и совесть знать, устанете читать! 22 июня 41-го закончилось наше детство. Поколение без детства и юности.

Остался на память мой военный алюминиевый котелок. После тех самых американских подарков в 44-м году нам стали привозить в поле похлебку и наливали в эти котелки. Все дети ели, а мы с братом сливали в один котелок и с поля бегом к маме в больницу. Она не берет, а мы доказываем, что уже поели, а это «специально для тебя дали». Разве можно забыть, как мама все нам отдавала!

Простите за некрасивый почерк и, наверное, за ошибки. Все, о чем написала, прошло через сердце.

С уважением

Тамара Ивановна Тетерина,

простите, простите, пожалуйста!

Виктор Шевченко, ученый-биофизик

Виктор Шевченко (слева)

Я сталинградский ребенок войны. Для меня это своего рода воинское звание. Август 42-го. Помню, я семилетний стою с мамой посреди комнаты. Мама больно держит меня за руку. Я вижу Володю, двоюродного брата, вцепившегося в свою маму – тетю Дашу. Она сестра моей мамы Полины. Наши отцы на работе, мы их в последнее время почти не видим. В доме никого больше нет. Наш деревянный дом, самый прекрасный дом на свете – наше убежище и крепость, сотрясается и вот-вот рухнет и придавит нас. Во время бомбежки, согласно инструкции, мы к окнам не подходим. Согласно той же инструкции, стекла заклеены крест-накрест бумажными лентами для большей сохранности. Мы прилипли к полу и слушаем грохот, свист и вой такой силы,

как будто на нас рушится небо. Только оно, это небо, почему-то железное. Уже падали первые бомбы на Бекетовку, когда пришли две электрички сразу, и много было погибших. И самолет уже летал над самыми крышами и сбрасывал листовки. Но этот страшный налет поставил черную метку – мое детство закончилось!

На следующий день я, Володя и другие ребята разглядывали металлические бочки, прилетевшие с неба на наш город. Эти самые бочки были простреленными и пустыми, с кусками разного железа. Именно эта их особенность создавала такой свист и вой. Вместе с бомбами сбрасывали эти бочки для большего устрашения. Город наш стал неузнаваем. Развалины вместо улиц и кварталов. И черная копоть от догорающих домов…

Историки потом напишут, что это была самая трагическая бомбежка – до 40 тысяч погибших.

* * *

Я перестал посещать детский сад, а Володя – школу. Мы перебрались жить в какую-то землянку поближе к заводу. Голодно было. Помню, мы с мамой пошли на ближайшую бахчу, где росли очень вкусные дыни. Дошли до поля, а там наш часовой – «куда идете, там немцы». Чтобы маму убедить, что там не наши, а немцы, он снял бинокль и дал ей. Мне тоже дали посмотреть, я впервые увидел немца так близко, совсем рядом – в каске с оружием и большой дыней на груди, как сейчас вижу эту картину. Другой немец колол штыком, видимо, проверял дыни на спелость…

И мама, и отец работали на знаменитом Тракторном заводе. Они были, что называется, кадровыми рабочими. Отец Тимофей Наумович Шевченко был мастером-литейщиком, а мама – токарем. Я гордился тем, что их портреты висели на Доске почета, к тому же маму выбрали в профсоюзные руководители и народные заседатели…

Спустя много лет я узнал от постаревшей мамы ее тайну. Когда немцы вошли в Сталинград, она, испугавшись расправы над семьей, свой партийный билет закопала. Известно было, что коммунистов немцы расстреливали в первую очередь. Всю оставшуюся жизнь она боялась разоблачения. Страх ее преследовал потому, что послевоенная жизнь не давала расслабиться из-за суровости законов. Она даже не пошла на завод, где знали, что она член партии. Мог быть и суд, и лагерь. Вообще маму сильно изменила сталинградская

оккупация. Прежде живую и общительную, а теперь совершенно потерянную, ее никто не узнавал…

Еще помню, как мы – «дети Тракторного», который работал до последнего, любили прибегать на площадь перед заводом. Нас сильно поубавилось, в эвакуацию уехало немало детей с родителями. Но заводы работали для фронта, и, значит, заводские семьи оставались. В мирной жизни мы с папой здесь, на площади, кружили на велосипеде, то есть он бегал со мной рядом, когда я учился на своем детском двухколесном. Однажды он снял с себя галстук и прицепил его сзади меня, и я так ехал с его страховкой. Это было вчера и давно – в мирной жизни моего детства.

И вдруг! На нашу площадь нагло вторгся немецкий танк! Это был небольшой танк, он остановился, развернул на нас пушку, повел из стороны в сторону, поглазел, потом как жахнет по арке, где была надпись «Сталинградский тракторный завод», и, развернувшись, ушел. Даже не берусь описывать состояние всех, кто был на площади, – просто нужных слов не найдется.

* * *

Но все это ничто по сравнению с переправой через Волгу! А еще до переправы мы с мальчишками бегали к нашим солдатам. По-моему, это были войска ПВО. Я им однажды спел. И потом они меня стали просить, говорили другим – этот мальчишка хорошо поет «Катюшу». И я пел им, если налетов не было. Помню, получил в подарок котелок, шоколадку большую, ремень, но не солдатский, а простой кожаный ремешок, что-то еще было…

Мы, ребятишки, были сами себе предоставлены. Конечно, к войне привыкнуть нельзя, к ней можно только приспособиться! Если налет, то прятались по землянкам. Мама с завода прибежит, даст мне какой-нибудь еды и снова на завод. Отец там был безвыходно. Мы знали, что завод делает танки Т-34, их испытывали, а мы всегда смотрели, и прямо от завода они шли на ближний фронт. И все-таки завод эвакуировали у немцев под носом.

* * *

Отец уехал с заводом. А мы с мамой и другими семьями должны были переправиться через Волгу. Трагической была

и сама переправа. Под огнем погибло столько народу, что до сих пор неизвестно, сколько было на самом деле. Потому что до Волги дошли еще и беженцы, а сколько эвакуированных было с Украины, из Ленинграда и других городов!

Тогда на берегу собралось ну очень много женщин и детей! Мама мне поручила бидон с маслом. На себя надела три платья. Мешок сухарей заготовила. И больше вещей у нас, по-моему, не было. Два дня мы провели на берегу в ожидании переправы. Бомбили и город, и берег, и переправу. Причалы были уничтожены. Прямо на глазах у нас потопили и расстреляли баржу и катер. Днем мы прятались по кустам, по ямкам, а ночью начиналась переправа. Но и ночью немцы над Волгой нас стерегли. На середину отойдет баржа, и тогда ее бомбят. Некоторые разворачивались назад. Нашу баржу тоже бомбили. Но нам повезло, бомбы не попали, мы добрались до восточного берега. Помню, там стояли зенитки, которые отгоняли от нас немецкие самолеты. И я запомнил совсем молоденьких зенитчиц и удивился – так вот кто нас защищал! Спустя много лет мы узнали, что первыми в Сталинграде погибли именно девичьи расчеты с западной стороны города. На них шли танки и они сами перенацеливали свои зенитки, хотя задача зениток сбивать самолеты, а не с танками воевать…

Помню, как мы ели мамины сухари, сначала макали в воду, а затем этим ломтиком зачерпывали масло подсолнечное из крышки бидона. А потом мы долго шли куда-то, добрались до железной дороги и дальше поехали уже с заводом. Но папа ехал не с нами в теплушке, а вместе с машинами. Ехали месяц. Стояли долго в Челябинске, кажется, часть завода сняли там. Да, еще случилась большая беда – у нас украли мешок с сухарями…

В итоге нас привезли в Барнаул, поселок Озерки. Это было 22 ноября. Стали мы жить на улице, которую назвали Танковой. А рядом были Кузнечная, Литейная. Домики оказались летние, насыпные, не для зимы, говорят, японцы строили. Замерзали первую зиму, пока папа не утеплил. Помню до самого завода ходила электричка. Завод назывался «Моторный», или 77-й. Там же, в Озерках, я девяти лет пошел в школу. Это был 44-й, война заканчивалась…

А 9 мая 45-го в нашу комнату влетели «веселенки», так мы звали братьев Василенко, они жили напротив нас: «Все, Победа!»

К окончанию школы я твердо знал, что поеду на родину. После службы в армии поехал в Сталинград поступать в институт, а через месяц вернулся домой – не смог, мне там было плохо…

Лиана Черепанова, кинорежиссер-документалист

Хорошая у нас была семья, и жили мы хорошо. До войны! У нас был просторный дом. В праздники и в выходные выезжали обязательно в лес с какой-нибудь вкуснятиной. Мама с папой много работали и вообще были активными, разносторонними людьми. Так что занятость свою они компенсировали очень просто – у нас с братом была няня Полина, которая любила нас, как родных. Когда началась война, мне было 12 лет, а брату Гене 16. Няня нам объявила, что уходит от нас: «Дети выросли, не хочу вас объедать». В общем, хорошая жизнь разом кончилась, папу и маму мобилизовали. Папа Николай Черепанов был классным механиком, сам занимался ремонтом машин, хотя работал директором единственного в Иркутске гаража (теперь бы сказали – автопарк грузового транспорта). Он был «белобилетником» из-за проблемы с рукой, но его призвали, а на фронт не отправили. Поступил он в личное распоряжение командующего Сибирским военным округом. Всегда в разъездах, жил в казарме, домой отпускали очень и очень редко. За всю войну раз пять заскакивал, привозил ведро картошки, больше ничего. Он не очень-то любил вспоминать, но иногда рассказывал, что приходилось в одиночку делать грузовые перевозки через Байкал по льду, и попадал в трещины, и тонул, но спасала смекалка; за потерю грузовика, если остался жив, могли к стенке поставить. Война!

За отцом ушел добровольцем на фронт Гена. Его взяли в разведшколу, он выглядел как пацан, но был ловкий и сильный. Ушел и как в воду канул – ни одной весточки!

Осталась я с мамой. До войны она работала инспектором отдела кадров в облисполкоме, пока не арестовали их главного – очень хорошего и порядочного человека. Когда его расстреляли, папа заставил маму срочно уволиться, и как раз перед войной мама окончила курсы медсестер. Характер у нее был живой, она прыгала с парашютом, тогда популярен был Осоавиахим. В общем, с мамой нам было не скучно. Как-то, помню, она привела женщину с ребенком на руках, которая стояла на улице и плакала, потому что потеряла пропуск к мужу-офицеру на Дальний Восток. И билет ей новый не дают, и в поезд не сажают. Долго она жила у нас, пока оформлялись новые документы. Мы жили одной семьей. И вообще наш дом был гостеприимным. В благодарность родители этой женщины к себе

в Туапсе пригласили. И мы с Геной успели съездить. Их дом и сад были в нашем распоряжении. Уж мы наелись фруктов! Яблоки и груши рвали прямо с дерева, спали под открытым небом. Помню, такие звезды большие – не как у нас в Сибири. Замечательные были каникулы! Прощались до следующего лета, но началась война…

Скажу сразу, что спустя 10 лет я их искала и от соседей узнала, что семьи больше нет. Отца немцы расстреляли как партизана, дом сожгли, а мать умерла, так и не дождавшись дочери.

* * *

Но вернусь к началу войны. Мама стала работать в госпитале, который открыли в женской школе № 13 на улице Тимирязева. Иногда я ходила к ней после уроков и помогала раненым. Я ведь была уже грамотным человеком и могла писать им письма под диктовку, читала газеты и просто разговаривала. Раны видела ужасные, много ампутаций – и без рук, и без ног, а кто ослеп… Я помню, сразу много калек появилось! Их выписывали из госпиталя, и они заполоняли город. Зрелище было трагичное – ставшие сразу ненужными, они спивались, нищенствовали. Мне кажется, все их понимали, не упрекали. Потом, как мы знаем, этих несчастных убрали из городов и тихо вывезли на север, чтобы глаза не мозолили. Жестокое время!

В начале 42-го маму перевели на работу в военный поезд. Она ездила на запад за ранеными и доставляла их в свой госпиталь. Ее не было дома иногда месяцами. Приезжала на 2–3 дня и снова уезжала. А я жила одна…

Потом маме поручили еще более сложное задание – тяжелых раненых надо было развозить по домам. Но надо знать, примут ли они тяжелого инвалида. И она сначала сама выясняла бытовые условия. Иногда жены говорили, что даже детей нечем кормить. И тогда надо было солдата-инвалида устраивать для дальнейшей жизни. Хорошо принимали своих калек в Средней Азии. Там было посытнее, лишний рот могли прокормить. Мама рассказывала: семьи у них большие, многодетные, свое хозяйство – сад, овцы, козы, и такого голода, как у нас, не было.

* * *

Как я выжила одна в 13 лет – сама не знаю! У меня была одна

хлебная карточка, утром я шла ее отоваривать, а на обратном пути весь этот кусочек съедала, до дома не доносила. Сколько граммов по детской карточке полагалось – не помню. У нас в кладовке оставались отруби, и какое-то время я варила из них кашу. Если была картошка, резала на мелкие дольки, пекла прямо на печке и ела, не больше одной картошки в день – экономила! Если бы не друзья! Была у меня подруга Рая Райсфельд. Ее отца перед войной арестовали. И мама с тремя детьми – мал мала меньше, устроилась поварихой. Мы ходили к ней на работу поесть. Помню, она наливала нам в железные миски суп, второе и кисель, а в самую нижнюю миску прятала кусочек сахара. Редко, но иногда она давала хлеб. И хотя мы всегда были голодные, этот хлеб обычно не ели. Мы нарезали совсем маленькими кусочками и продавали на базаре, а потом на эти деньги покупали билеты в кино. И были так счастливы! Кино тогда спасало и поддерживало многих – я уверена!

За всю войну я ни разу досыта не наелась. Если бы не Рая с ее мамой, умерла бы с голоду. Зимой мне по-тимуровски помогали соседские мальчишки. Во дворе у нас лежали бревна, они распиливали их, а я потом двумя топорами – сначала острый топор засажу, а потом по нему бью колуном. Так и раскалывала на поленья, топила печь.

Но все равно было очень холодно, дом большой и согревался плохо. Я собирала все-все, что было в доме, и устраивала себе норку из одеял и подушек, и в норке спала. К утру на полу и в углах был лед…

Однажды я с отчаяния написала письмо в Москву на Всесоюзное радио – «для Гены Черепанова из Иркутска». Тогда радио было частью нашей общей жизни, я всегда жадно слушала и военные сводки, и детские передачи. Я его совсем не выключала, чтобы не так страшно было одной. В письме я обратилась к брату: «Гена, откликнись, я – твоя сестра Ляля осталась совсем одна, возвращайся домой, я больше так не могу» Не помню, что еще написала, и вдруг, мое письмо зачитал по радио Левитан! И мне стали со всей страны приходить письма – люди звали, писали: «Ляля, приезжай к нам, мы тебя обогреем!» Но как я могла уехать? Я должна дом наш сохранить! Интересно, что иркутяне помощи не предлагали, наверное, у нас очень холодно и голодно жили. Гена моего письма не слышал – он в это время лежал в госпитале. Но ему какие-то люди рассказали, и он, наконец, прислал мне письмо. На каком-то задании его ранило в плечо, но он дополз до наших позиций. В госпитале сделали сложную операцию, поставили штырь железный вместо ключицы. Дело было в Польше,

его комиссовали, но комендант Варшавы взял его к себе ординарцем. Письмо было хорошее, главное, что мой брат жив и обещает скоро вернуться.

* * *

Хочу рассказать про одного парнишку – полуцыган Валек, ровесник Гены примерно. Он ходил всем напоказ с ножом-финкой – играл им, как жонглер. Моя подруга, которая ему нравилась, боялась его. Помню, он к нам подходит, она мне – бежим, и первая прыгает через забор. Он спрашивает зло: «Ты тоже меня боишься?» Я ему: «Нет, у меня есть старший брат по прозвищу Чапай». Он спрашивает: «И где этот брат?» Я говорю, что на фронте, а я одна, но никого не боюсь! И тогда он говорит: «Ты мне будешь как сестра, я тебя буду охранять, и никто тебя не тронет». Так я жила два года под его охраной. Все его боялись и ни ко мне, ни в наш дом не лезли. А потом он кому-то помог бежать из тюрьмы, его поймали и расстреляли. И вот тут я поняла, как одной страшно! Несколько раз ночью в дом ломились. Я болты, на которых оконные ставни держались, завязывала веревкой и еще руками держала, чтобы не выдернули, и кричала, что милицию по телефону вызвала и что она сейчас приедет. А у меня и телефона-то не было. Люди догадывались, кто вокруг обворовывал, в общем-то голодные мальчишки. Но мне очень страшно было! И вот, когда я поехала картошку копать, местная шпана залезла в дом и все до нитки вынесла. В школу 1 сентября я уже не пошла – не в чем было…

Когда в 46-м папа вернулся, картину он увидел плачевную – дом был совершенно пуст, на дочку без слез не взглянешь. У меня не было ни ботинок, ни даже чулок, только самодельное платье, сшитое из мешковины. Мне очень не хватало школы, я шестой класс окончила почти на «отлично», с одной четверкой по русскому. Папа удивлялся, что в школе не поинтересовались даже, куда делся ребенок и почему не пришел в 7-й класс. До возвращения папы я целый год прожила с больной мамой и, как могла, ухаживала за ней, в доме хозяйничала, отоваривала хлебные карточки, кормила, печи топила, воду носила.

* * *

В начале 45-го из поездки в Среднюю Азию мама вернулась очень больной. Она заболела малярией. И еще там случилось что-

то страшное, что именно – она либо не помнила, либо не хотела помнить. Но с тех пор как будто помешалась. В марте 45-го моей маме Мираиде Черепановой вручили медаль и комиссовали по причине инвалидности. Ее приступы малярии меня приводили в отчаяние. И иногда она меня очень пугала, когда не пускала в дом: в окно так страшно смотрит, лицо неузнаваемое, глаза безумные и пальцем мне грозит. Тогда, по сути, еще ребенку, мне было с ней не только тяжело, но и страшно. Я даже радости Победы совсем не помню!

После войны жизнь постепенно наладилась. Папа маму любил очень сильно. Он за нее боролся, лечил, выхаживал. И через тяжелых два года она начала поправляться. В себя она пришла только через три года, когда я оканчивала вечернюю школу. А Гена вернулся в 55-м, когда я начала работать на студии Восточно-Сибирской кинохроники. Он меня не узнал! А в 43 года его не стало. В день похорон мы узнали от его командира, что однажды у Гены сдали нервы, и он убил захваченного «языка». За это его лишили наград – ордена Боевого Красного Знамени и медалей. Домой он приехал с одной медалью «За боевые заслуги».

В нашей семье не любили вспоминать военные годы. В кино войну не смотрю – слезы закипают. Да и без кино – как вспомню, так и плачу. И это при моей жесткой мужской профессии. Вот вам и Сибирь – тыл, а война-то общая!

Петр Штарк, летчик гражданской авиации

В немецком селе Шенхен, на берегу русской Волги родился не только я, но и мой отец, и мой дед, и мой прадед. Кто-то из моих смелых предков отозвался на приглашение великой немки Екатерины Второй и с сотнями тысяч крестьян и ремесленников приехал в Россию.

Род у нас крестьянский. К началу войны мой отец Йоханнес Штарк, как и его братья – Антон и Карл, жили уже каждый своим домом и по-крестьянски обживались хозяйством и детишками. Я был в семье первенцем, когда мне исполнилось 3 года, появился у меня братик Витя, как раз в 41-м году. А через два месяца, в августе, война буквально ворвалась в наше село. Согласно печально знаменитому Указу Верховного Совета СССР я был выслан вместе со всем немецким народом в Сибирь. Комендантский час стал отсчитывать мое детство. Автономия русских немцев в Поволжье прекратила свое существование.

Поскольку я был мал, то не могу рассказать о том, как происходила наша стремительная депортация, но много знаю от тети Регины, сестры отца, они были близнецами. Нашей Региной гордилась не только семья, а весь колхоз – знатная свинарка, участница Выставки достижений народного хозяйства в Москве. В изгнание Регина взяла свою почетную грамоту и фотографию, где она рядом с «отцом народов». Я хорошо помню

это фото, оно висело у Регины на стенке.

Что пережили семьи, расставаясь с родными гнездами, в какой спешке их вывозили, как шли колхозные коровы с брошенной фермы, сами по дворам, к людям за помощью, и те на ходу выдаивали их в землю прямо у телег – все это я знаю не только от Регины. Я ведь и сам был маленьким свидетелем того, как плакали все мы – ничего не понимающие дети, ревела скотина, и собаки бежали за подводами…

* * *

Наш эшелон прибыл в Манский район Красноярского края. Доехали не все. Некоторые младенцы и старики дороги не выдержали. Хоронили на остановках прямо у железной дороги…

Вскоре отца с братьями отправили в «трудармию» на лесоповал в Пермскую область. Старший, Антон, в 42-м там погиб, осталось у него 6 сирот. Потом в «трудармию» забрали женщин, у которых не было детей, это молодежь.

А мама работала в колхозе. На всю жизнь сохранилось в памяти, как мы с мамой однажды остались на ночь в каком-то пустом доме на краю поля. Наверное, это было ее дежурство – тогда строго охраняли урожай. И так хорошо было нам – мы сидим с ней на чердаке, о чем-то тихонько говорим и смотрим на большое картофельное поле, и нам далеко-далеко все видно сверху…

Помню, как ходили за крапивой. Мама добавляла ее в суп, который нам выдавали, где какая-то одна макаронинка плавала. А когда она снова этот суп переваривала с крапивой, тогда его было побольше. Мы сильно голодали. От недоедания мой братик Витя умер. И тогда мою маму Марию Штарк забрали в «трудармию» в «Тагиллаг» – в Нижний Тагил на кирпичный завод. Если у женщины были дети старше трех лет, то их у нее забирали в детский дом, а ее отправляли на работы. А мне к тому времени уже было 5 лет.

Помню, как я видел свою маму в последний раз. До сих пор слышу этот страшный плач женщин, когда их отправляли. Они бились в истерике, их усаживали на телеги, а они спрыгивали к детям, их снова усаживали и тогда уже привязывали. А вокруг телеги народ толпится, провожает, успокаивает…

Мучительные воспоминания. Так я остался один…

Осенью 43-го я поступил в детский дом. Но тетя Регина меня

скоро забрала. Ее не отправили в «трудармию», судя по всему, награда помогла. Какой-то генерал взял ее на дачу помощницей по хозяйству. И мы там с ней неплохо жили, но коротко. Сам генерал был на фронте, потом он погиб, дачу у его семьи забрали, а тетю Регину отправили на хозяйственные работы. Опять я остался один…

* * *

С приходом Победы моя война не закончилась, как и для всех русских немцев! В 48-м, когда мне было 10 лет, и я окончил 1-й класс, семьям разрешили поехать на Урал к своим мужьям. Знакомые по фамилии Крайдер – мама с дочкой – ехали прямо туда, где был мой отец, и взяли меня. Выехали мы в начале сентября, а к отцу я приехал зимой. По дороге на станции Кармачага нас сняли с поезда и отправили на уборку урожая. Я помню, как мы с поля снопы возили на телегах, и я сам управлял повозкой с запряженными быками. За работу меня наградили большим караваем хлеба.

В Красноярске нас снова загрузили в товарные вагоны с дощатыми нарами. Ехали долго. Было уже холодно, а мои брезентовые тапочки совсем разодрались. Спасал бушлат довольно длинный, который я получил за успехи в первом классе.

Помнится, долго мы стояли в Перми, где рядом со станцией был колхозный рынок, там можно было что-то купить или обменять. Но купить не на что, а обменять нечего. И мы, голодные пацаны, такие же, как я, добиравшиеся к отцам, бежали на рынок спасаться от голода. Один из нас подходил к бабке, брал капусту и убегал. Та кидалась вдогонку, а другие в это время могли схватить по горсти квашеной капусты. Так же и картошку добывали, а потом в костре пекли в овраге. За все три месяца дороги мы ни разу не мылись, ходили грязные. До сих пор вижу себя, как я сижу в открытой двери вагона и давлю вшей…

Когда нас на пароме переправляли через Вишеру, приток Камы, уже лежал снег. Помню острые льдины вплотную с паромом, страшновато было. На другом берегу нас ждали мужики-трудармейцы, все в одинаковых фуфайках, валенках. Какой среди них отец? Я его не помню, да и он меня не узнает. Подошел ко мне один и спрашивает: «Ты чей, к кому едешь?.. А, Йоханнес Штарк, знаю, вместе работали, но его отправили в Ныроб». Потом оглядел меня, велел ждать и ушел, а вскоре появился – принес мне шапку-ушанку, сапоги 43-го размера с теплыми портянками и еды. Наелся я хлеба досыта за долгое

время!

Ну, снова дорога – полуторка до села Булдырье, дальше на санях. Помню, с нами был их нормировщик по фамилии Мосман. Когда навстречу показались двое, Мосман говорит: «Твой отец идет». Я спросил: «Который?» «Тот, что пониже». «Папа, я тебя нашел!» – закричал я…

Описывать свое состояние не берусь, я его даже не помню. Просто затмило чувство покоя – кончилась моя бродячая жизнь!

* * *

Мне разрешили остаться в бараке с отцом, тем более что я простудился. Заболел я сильно и надолго и в школу в Булдырье смог пойти только на следующий год, сразу в третий класс. Мне так хотелось выжить, – я обрел отца, нам не надо расставаться – несправедливо умереть! И я выжил!

Помню нашу большую комнату, где жили 20 человек, – длинный стол, дощатые нары и железные кровати. Я спал вместе с отцом. Любил ходить к нему на пилораму, но чаще он работал в лесу – зимой деревья валили, на вагонетках возили, укладывали на берегу, а летом сплавляли. К тому времени уже сняли колючую проволоку вокруг бараков, отменили комендантский час, им стали платить деньги, и они могли купить хлеба столько, сколько хотели. И все же должны были регулярно отмечаться у коменданта, как спецпоселенцы, хотя и работали как вольнонаемные. Вот тогда война для меня подошла к концу, хотя о возврате домой не могло быть и речи!

В памяти осталось, как в праздники было шумно и весело в нашей комнате, шутки-прибаутки, сами готовили брагу Жизнь брала свое – молодые мужики, столько пережившие, забывали все тяжелое и несправедливое, душа просила отдыха. Плохое вообще быстро забывается…

Мы не переставали искать маму. Писали письма в «Тагиллаг», но ни на одно не получили ответа. Я просил отца – давай еще искать, а он только плакал. Потом он женился на вдове Марте, ее сын стал мне братом. Им дали комнату, и в 14 лет я снова обрел семью. Думаю, отец знал что-то о маме. Спустя много лет я нашел женщину, которая тоже была в «Тагиллаге». Она сказала: «У тебя была очень красивая мама, и один начальник не давал ей проходу, а прав на защиту нет…» Куда исчезла мама, она не знала. И я тогда понял, почему не было ответа на наши письма. Их просто изымал кто-то при досмотре. Этот фильтр работал «на законных основаниях». По архивам Мария Штарк выбыла из «Тагиллага» в 1946 году. Куда – не указано.

Пожалуй, моя война закончилась только в 2007 году, когда я, наконец, узнал, где моя мама упокоилась, но это отдельная и печальная история.

P.S.

Русских немцев восстановили в правах в 1956 году, но без права возвращения в родные места. И тогда же освободили из-под комендантского надзора. Это совпало с 18-летием Петра Штарка, его призвали служить в Советскую Армию. Реабилитировали русских немцев в 1991 году… без права восстановления Немецкой автономии.

Александра Чечета (Дубова), доктор экономических наук

Моя родная деревня Верея в 30 км от Москвы, рядом со станцией Удельная. Места красивые – лес, луга, озеро и Москва-река. Рядом взлетная полоса аэропорта Быково, а Верея у него как бы в тылу. Между взлетной полосой и нашими домами проходила полоса обороны – весь лесок был перекопан – рвы, окопы, и зенитки в укрытиях, охранявшие аэропорт. Налеты на нас были регулярными осенью и зимой 41-го. Разве можно забыть этот нарастающий вой, гул, самолеты кругами над самыми крышами, и мощный огонь зениток, такое «на всю оставшуюся жизнь»! Если сбили самолет, вся ребятня бежит смотреть. Но обычно уже плотное оцепление, от аэропорта машины с сиренами мчались, и что-то увидеть было невозможно. Но мы все равно бежали. Я была мала – 4 года, но бегала за братишкой, куда он – туда и я, как нитка за иголкой, хотя именно ему было поручено быть мне нянькой.

* * *

Детей в семье было трое. Кроме меня 11-летний Володя и Рая 15 лет. Папа наш был кузнецом в четвертом поколении. У прадеда была даже своя кузница, которую отняли во время коллективизации. В ней уже работал дед. Но деда не тронули – без кузнеца нельзя! Он работал там же, но уже в колхозной кузне. Кличка у него была Дуб, потому что они все сильные, мощные, и папа был такой же. Когда стали впервые выдавать паспорта, – их же не было в колхозах, папу спросили: «Ты чей?» Он сказал: «Дубов внук». Так его и записали – Дубов, хотя клан наш был – Кондратьевы. У деда было 14 детей, выжило 6.

Чечета Саша (в центре). 4-й класс

До войны, пока вся семья была в сборе, мы хорошо жили, как положено семье кузнеца. На селе кузнец – очень важное лицо, не в каждой деревне был.

Папу призвали в 42-м, когда армия остро нуждалась в пополнении после масштабных потерь. И рядовой пехотинец Петр Иванович Дубов 37 лет ушел воевать под Ржев на московское направление фронта. А там, как известно, было длительное и кровавое противостояние. О том, что с отцом случилось несчастье, мы узнали, когда он оказался в Подольском госпитале. Они с напарником подорвались на мине, когда их послали восстановить порванную связь. Напарник погиб, отец остался жив, но был изуродован. Ездила к нему мама, а мы, дети, увидели отца, когда его перевезли из госпиталя, где он лечился полтора года. Дальше он лежал дома, одна нога оставалась изуродованной – 16 переломов. Его страдания были на наших глазах. Вся семья – 5 человек жили в одной комнате, потому что дров не было, согреть могли только одну комнату в доме. Помню, у отца началась гангрена. И мама под руководством нашей симпатичной докторши Веры – одна была на всю округу – лечила папу. В общем, вместе они его спасли! Когда он стал садиться, мы так радовались, что наш папа не умрет! Конечно, он не был уже ни крепким, ни здоровым, каким уходил на войну, но главное, что он был жив. Потом уже он освоил костыли и три года так передвигался, со временем взял палку и ходил

с помощью Володи. До конца жизни его мучили боли, и ходил он с большим трудом…

* * *

Однажды, когда отец уже начал сидеть, к нам пришел один важный дядя и стал просить отца подковать лошадей – «ты хороший кузнец, выручай». Это был хозяйственник из ближайшего санатория, которым управляла мать Маленкова, члена ЦК. В войну там был госпиталь. Машины на фронте, только в аэропорту они и были. И лошади – главный транспорт. Так вот эти лошади «вышли из строя», и надо срочно подковать, а некому. Папа сказал, что он бы рад, только теперь он уже не кузнец. Но этот человек предложил отцу роль учителя, а ученики уже подобраны. Действительно, его отвозили в кузню, он сидел на специальной низенькой скамеечке почти под лошадью сбоку, вытянув больную ногу, и руководил ребятами. Это были подростки лет 15, человек пять. Я помню этих мальчишек – выбирали поздоровее, покрупнее. Ну и чтобы сил им прибавить – ведь никто досыта не ел, – приносили им в кузню по пол-литра молока. Помню, заводят лошадь, берут крепко под уздцы, спутывают ноги жестким узлом то передние, то задние и отец говорит, как снимать стертые подковы, как гвозди забивать – там 4 дырочки на подкове под четырехугольные гвозди. Сам он не мог забивать – сил не было, показывал, как бить. И еще в кузне горн был, в нем угли разогревали. Тогда болванок не было, сами делали подковы под папиным руководством. И как же меня пугало раскаленное железо, которое большими щипцами доставали…

А потом, когда уже все лошади были подкованы, папу привезли с большой сумкой продуктов – плата за работу! И у нас дома был пир на весь мир! В сумке лежал белый хлеб, которого я совсем еще не знала, кусок масла и краковская колбаса, вкус которой помню до сих пор!

* * *

Обычно мама приносила кусок хлеба на рабочие карточки и наши детские, их называли «иждивенские», по ним хлеб давали в разы меньше. Резал хлеб обычно папа, всегда по такому кругу: сестре кусок хлеба, брату кусок, мне половинку, как маленькой, маме кусок и себе кусок. Пока мама наливает еду, брат уже съест

свой хлеб. Но было строго запрещено трогать у меня, папа следил, чтобы никто не откусил. Хлеб этот надо было видеть! В нем половина картошки, половина мукой как-то связано, кляклое все, но он же был вкусней всего! И всегда есть хотелось! Еще у меня летом задание было на каждый день – нарвать на лугу щавеля, будут щавелевые щи. На следующий день – крапивы, будут крапивные щи. Конечно, постные. Иногда по карточкам давали селедку, но суп из нее не сваришь. А осенью у нас с братом была трудовая повинность: каждый день после школы – мешочек и на поле собирать картошку после копаного – это после того, как соберут урожай – то, что осталось и что найдем. Бывало, попадемся объездчику. Поля охранялись. Он на лошади подъедет, отберет мешочек и подзатыльник даст. А без этой картошки прожить было невозможно! Но когда папу стали отвозить на подводе в кузницу, ему стали давать один килограмм картошки в неделю и литр молока каждый день. Тогда мы уже зажили, в доме молоко появилось! Но это потом!

А когда папа ушел на фронт, мама устроилась на одну маленькую фабрику в Жуковском, которая шила обмундирование для фронта. С ней и Рая пошла, хотя она была еще несовершеннолетняя. Им дали рабочие карточки. Рая работала на фанговом станке – тяжелая работа для девочки. Она ткала трикотажное полотно, из которого шили белье для солдат, шарфы. И на рытье окопов тоже ездила. Ей очень хотелось учиться, но война не дала…

* * *

Помню, когда папу привезли из госпиталя, маме разрешили брать работу домой, потому что тяжелораненый нуждался в уходе. Вечерами я, брат и мама садились за работу. Мама раскладывала полуфабрикат, который надо было довести до ума, мне давала иголку с шерстяной ниткой, и я петли у шарфа подшивала, чтобы они не распустились, не было тогда специального оборудования. Так что я дошколенком поработала для фронта. А утром мама нагружала сумку с нашей работой и везла в Жуковский…

Помню, на нашем участке был совсем маленький домок, и мама сдала его одному молодому человеку. Имя у него было татарское, я его не помню. Почему он переехал за город из Москвы, не знаю. Он был скрипачом и много играл. И вот однажды во время бомбежки – они чаще ночью бывали, мы, как всегда, бежим в наше бомбоубежище. Такие землянки все

на своих участках выкопали в 41-м. И папа тоже выкопал яму, накрыл листами, землю сверху насыпал и вход с дверью сделал. Так вот мы уже сидим в яме. Зенитки бьют, самолеты над нами, и скрипач бежит. Да не рассчитал в полной темноте, и как ударится о притолоку – он высокий был, упал, закричал и говорит: «Вот и все». Мы его втаскиваем – «да нет, не все, ты живой, давай скорей». А он: «Я думал, в меня осколок попал…»

Утром мы собирали осколки и хвастались – у кого три, а вчера было восемь! А то, что эти рваные куски металла – наши убийцы, мы не думали тогда. Потом скрипачу принесли повестку в армию. Долго потом мама хранила в чемодане его вещи, ноты, скрипку, все говорила – если ранен, то придет. Несколько лет чемодан лежал на шкафу, потом его унесли на чердак…

* * *

Когда я пошла в первый класс – это был 44-й год, мы однажды с братом были одни дома, и к нам зашли две цыганки. Мама наказывала не открывать, но Володя открыл, сказал: «Нет, мне не надо гадать». «Тогда дайте попить», – мы пошли оба за водой, а когда вернулись, не было моих замечательных новых галош, которые мама где-то купила, и я так счастлива была, что хорошо одета для школы. Ходить же было не в чем, и мама сшила из старой телогрейки ватные сапожки. Но без галош в них не пойдешь – промокнут. Я так рыдала. Хорошо, что сапожки эти были на мне, они унесли бы все вместе. Попало нам с братом по полной программе, все получили и слез пролили. Я помню, как мама сама заплакала: «В чем ты завтра пойдешь в школу?»

* * *

Хорошо помню День Победы! Рано утром стучат в окно, притом громко! Все повскакали – что случилось? Мама открыть окно не может – светомаскировка, стекла крест-накрест заклеены. Наконец, открыла, «Что?» Сосед кричит: «Победа! Победа!» – и к другому дому бежит. А когда все высыпали из домов, мы всю дорогу заняли. Общий восторг! А кто-то плачет…

Но жизнь мало изменилась. Было понятно – в стране разруха, убиты и покалечены самые работоспособные. Наша мама объявила – надо заводить корову, иначе не прожить, хотя им с сестрой стали платить уже зарплату, плюс к карточкам.

Она ездила куда-то под Рязань продавать свои серьги – от мирной жизни оставались, еще что-то. И вдруг по радио – у нас была «черная тарелка» – объявление о денежной реформе! И как же мама кричала, что деньги пропали, я помню это до сих пор! У нее была истерика – отняли надежду на лучшую жизнь, она продала все, что ей было дорого, собирала по каждому рублю, и вот! Уж как папа ее уговаривал: «Маша, ну все! Забудь!» Но мама так кричала, будто конец света наступил! И мы остались без коровы. Через два с лишним года мы все-таки корову купили, все очень старались. Мама пошла работать в колхоз, и нам дали участок земли, где мы сажали уже свою картошку. А потом купили овец сумасшедших. Меня заставляли за ними следить, кормить. Намучилась я с ними, но это приносило мясо в дом! Овца пугливое животное, выскочит со двора, один глаз налево, другой направо, и летит куда попало. Пастух угонит стадо, а я потом полдня ищу…

* * *

Война не давала о себе забыть и помимо бытовых и материальных трудностей! Наша Рая вышла замуж за парня, который в 42-м оказался в плену и примерно полгода находился в лагере на нашей территории под Мелитополем. Потом был побег, их группа влилась в действующую армию и воевала. Он дошел до Берлина и получил орден Славы – очень уважаемый, наравне с «Героем Советского Союза». Но его регулярно вызывали на Лубянку. И году в 55-м, когда его вызвали снова, у него сдали нервы, он пришел к ним с чемоданчиком: «Сажайте, я готов, или оставьте в покое!» Больше его не вызывали. Ну вот, так мы пережили эту войну!

Людмила Петрушевская, прозаик, драматург

Мое военное детство прошло в эвакуации. Воспоминания из сорок второго, сорок третьего…

Мама и Вава (так звали мою тетю Веру Николаевну) сразу же в Куйбышеве (ныне Самара) были направлены на шарикоподшипниковый завод. Дедя (это моя конструкция) вскоре получил две смежно-изолированные комнаты в доме Поволжского военного округа около Дома офицеров. Он в Гражданскую войну был, кажется, комиссаром корпуса в Туркестане. Все было более-менее нормально, у Деди был паек, у взрослых рабочие карточки, но потом Дедя получил вызов и уехал обратно в Москву. А следом уехала мама, получив вызов в ГИТИС, в институт театрального искусства. До моего рождения – в 1938 году, она училась в ИФЛИ, в известном институте философии, литературы и истории. Но если бы она не оставила учебу, ее все равно, как «чс» – члена семьи врага народа, отчислили бы, как выгнали тетю Ваву из танковой академии. Мама скрыла в анкете, что является «чс»…

Люся Петрушевская

И вот тут у нас начался настоящий голод. Ваву как «чс» уволили с завода после одного очень длинного допроса. Хорошо, не посадили. Из страха они с бабушкой никому об увольнении не сообщили и не просили ничего у родных. Жили на то, что присылала мама, – на алименты моего отца, молодого философа, болевшего туберкулезом. Карточки были одна детская – моя и две иждивенческие – на тетю и бабушку. На них выдавали черный хлебушко. Мы становились в очередь еще в темноте, на жутком морозе. Попадали внутрь хлебной лавочки, там было тепло. Продавщица ловко кидала с высоты на отрезанный хлеб дополнительный довесок, так что чашка весов под ударом резко опускалась, и тут же снимала его с весов.

Это было простейшее искусство обмана. Но довесок доставался всегда детям и ценился очень высоко. Хлеб мы затем якобы делили честно на три части. Я съедала свой кусок сразу же. Потом Вава и Баба скармливали мне свои порции…

Когда я потом спрашивала Ваву, как же мы жили, она пожимала плечами и улыбалась довольно растерянно: «Не знаю».

Бабушку раздуло от голодной водянки. Вава приносила от столовой Дома офицеров картофельные очистки – их солдаты сваливали на помойку. Баба пекла это на сковородке на примусе, как пекут картошку. До сих пор помню ужасный запах и вкус горелой шелухи…

Питались мы также из помойного ведра соседей. Это были богатые люди. В бывшей комнате Деди поселился майор, у которого был патефон и одна пластинка. Я, прислонясь ухом к забитой двери, выучила Бетховена «Заздравную» («Выпьем, ей-богу, еще») и арию из оперетты «Сильва» («Красотки, красотки, красотки кабаре»). В другой комнате обитала семья директора железнодорожной школы Рахили, которую почему-то Баба звала красивым именем «Фурия». У нее были две дочки.

Помню, однажды зимой жгучий голод пересилил обычную гордость, и меня послали на кухню за мусорным ведром. Его мы обычно опрокидывали над газетой и откладывали картофельные очистки, селедочные хребты с головкой, капустные листы, корки горелые. Баба варила из этого супчик.

Надо было дождаться, чтобы квартира угомонилась…

Дело шло к ночи, я осторожно вошла на кухню. У помойного ведра на ящике сидели две огромные куклы. Их явно выкинули дети Фурии, Эмма и Алла. Куклы были с головами из папье-маше, тряпичные, с замусоленными руками и ногами. Носы почерневшие, облупленные.

У меня имелась своя кукла, но одноногая и твердая. Целлулоидная, привычная. Кроме того, у меня был конь. Я вырезала его из кусочка картона и единственным своим лиловым карандашом нарисовала ему глаз. Конь показался мне слишком плоским, ненастоящим. Дети ведь реалисты. И я обмотала его поперек живота тряпочкой, чтобы он получился потолще. Сверху веревочкой. Получилось все равно непохоже.

А тут настоящие огромные куклы сидели на ящике у помойного ведра. Я встала на коленки и начала им что-то шептать. Я прикрыла их подолом сарафанчика. Как будто они пришли ко мне в гости. Мы вступили в оживленный разговор. Не помню, сколько это все длилось, может быть, до утра. Я не посмела их взять домой. В кухню заглянула Фурия, и вскоре

обе девочки явились за своими куклами…

Электричество у нас отрубили за неуплату, но иногда удавалось купить керосину для лампы и примуса. В лавочке нам отпускали топливо после всех почему-то. Мы простаивали там часами. С тех пор мне нравится запах керосина. Мы приносили домой бидончик. Можно было что-то сварить. Иногда зажигали керосиновую лампу. В эти моменты наступал праздник, было светло…

Так я всю войну и прожила – просила милостыню, косила под сиротку: «Нет ни мамы, ни папы, помогите». Однажды я проникла на балкон осветителей оперного театра, вход туда был снаружи по железной лестнице. Я вскарабкалась, поскреблась, и добрая тетя пустила. Я слушала «Женитьбу Фигаро» в исполнении эвакуированного Большого театра. Розина стояла на балконе прямо перед моим носом и пела нежным голосом: «Милый друг мой, я слушаю вас». На следующий вечер мне уже не открыли…

Сама я пела по дворам военные песни «Стали танки на привал» и что-то еще. Конечно, – «Красотки кабаре» и «Выпьем, ей-богу, еще, Бэтси, нам грогу стакан…» и пересказывала бабушкин репертуар, в основном «Портрет» Гоголя, за это дети могли вынести кусочек хлеба. Моя бабушка Валя, бывшая «курсиха» Бестужевских курсов, отличалась фантастической памятью и иногда по окончании радиопередачи продолжала наизусть прерванное чтение «Войны и мира». Мой дедушка Николай Феофанович Яковлев, ее муж, был лингвистом и знал 11 языков, не считая более сотни кавказских, которым он дал письменность. А я, их потомок, даже в школе не училась, потому что обуви не было. С апреля по октябрь я бегала босая, а зимой сидела дома. Но все-таки, несмотря на то, что меня принципиально не хотели ничему учить, я начала читать лет в пять по газетам, которые выкидывали соседи. Я также наизусть шпарила из Краткого курса истории ВКП(б), бабушкиной книжки…

Не было ни еды, ни во что одеться. Имелась одна длинная майка, которую я завязывала узлом внизу, получалось какое-то подобие купальника, был один сарафанчик. Вши глодали голодных. Тлел туберкулез. Но беганье босиком по талому снегу вплоть до нового снега закаляло тогдашних детей – или убивало.

И вот настала Ночь Победы. Это был именно не день. В ту ночь в городе мало кто спал, видимо. Ночью меня разбудил шум на улице, как будто бежала и бормотала – «победа, победа, победа», огромная бесконечная толпа, как идущий поезд. Я вскочила, набросила сарафанчик и как была, босая, выбежала

на улицу. Стояла полная тьма, я не знала, сколько времени, но было очень рано, даже не *4* утра, тогда бы уже начался рассвет. Люди что-то знали и радостно повторяли эту непонятную формулу – «Безоговорочная капитуляция». Я носилась по городу целый день. Толпа качала военных, раненых из госпиталей, везде играли патефоны, в Струковском саду играл оркестр, танцевали даже на улицах, и я кружилась за компанию. Через 20 дней мне исполнялось 7 лет.

Начиналась новая жизнь, но не для нас. Уже наступал великий голод 46–47-х годов. Меня ловили, чтобы отдать в детский дом. Я бегала от них, как стрела. Я ждала маму…

Она приехала и забрала меня, но все равно жить было негде. Она устроила меня на учебный год в детдом для ослабленных. Я там оказалась самая худая и имела прозвище «москвичка-спичка». Там впервые я играла в театре и пела в костюме цыганки на Новый год: «Ай-ляй-ляй-ляй-дарида». На шее у меня были стеклянные елочные бусы. Через полгода мама меня забрала. Это было настоящее счастье!

Из письма Людмилы Лукьяновой (г. Улан-Удэ)

Мое военное и послевоенное детство прошло в одном военном городке – Забайкальский военный округ. Отсюда мы, мальчишки и девчонки, под звуки «Славянки» с военным оркестром провожали наших солдат на фронт – все так, как показывают в фильмах о войне. Все мужское население из ближайших дворов и улиц было призвано на фронт. В нашем дворе остался только один мужик, и тот глухонемой. Наше поколение почти не знало слово «папа». И моего отца тоже отняла война. Ни в День Победы, ни позже на нашу улицу и прилегающие к ней не вернулся ни один солдат, ни живой, ни раненый. А День Победы у нас выдался солнечный! Только наши мамы в этот весенний праздничный день не просто плакали, а криком кричали от горя и от радости, что наконец-то закончилась долгая война. И все равно ждали, ждали сыновей, мужей, братьев, за ворота выходили. А чуда не было!

В нашем городе много было госпиталей. Через всю большую страну везли эшелонами раненых в наш далекий сибирский край. Невольно подумаешь, как же их много было, если даже сюда везут, и понимаешь – а сколько же их умерло по дороге, и сколько было снято с поезда…

Мы бегали в ближний госпиталь, помогали медсестрам и няням. Выступали со своими номерами – пели, стихи читали, танцевали или просто с ними у кровати сидели и молчали, а они нас сами расспрашивали и о своих детях рассказывали. Зная про наше голодное детство, хлебом делились с нами…

Очень хочу рассказать об одном безымянном танкисте. Был уже конец войны, год 45-й. И вот кто-то из наших мальчиков где-то услышал, что на «барахолке» появился обгоревший танкист. Мы собрались всем двором и помчались туда. Действительно, недалеко от входа, на маленькой тележке с колесиками неподвижно и прямо, как статуя, высился человек. Не подобрать глагола – не сидел, не стоял, а именно высился. И это притом, что ног у него не было, не было руки, а вместо второй – культя. По-сути, полчеловека, полтанкиста. На обожженном лице застывшая улыбка, которая на самом-то деле изуродованный рот. На нас глядел один широкооткрытый голубой глаз с разорванным веком. Другой глаз был закрыт. А на земле перед ним лежали вещмешок и шлем танкиста. Потрясенные люди клали рубли и копейки в шлем и отходили.

Поскольку у нас никогда не было денег, мы приносили ему кусочки хлеба и клали в вещмешок. Самой страшной новостью для нас стало то, что, как нам сказали, он не может говорить…

Пробыл он на том месте недолго. Когда он исчез, мы стали приставать к взрослым. И взрослые нам сказали, что никто его не опознал, из госпиталя приехали и перевезли его в Дом инвалида…

Потом я все думала – да, он не мог говорить! Но как много он нам сказал! Эта молчаливая живая статуя кричала: «Смотрите и запомните – это война!»

Мне кажется, что тот безымянный танкист и есть олицетворение войны, всегда чудовищной и бессмысленной. Да, война всегда бессмысленна потому, что противочеловечна!

Я рассказываю уже не одному поколению своих учеников об этом безымянном танкисте, который оставил глубокий след в памяти тех, кто его однажды увидел. Вот уж поистине – «имя его неизвестно, подвиг его бессмертен!»

Позволю немного о себе. Наша семья не дождалась мужа – Александра Гончарова – моего отца и Ваню Гончарова – моего старшего брата. Ванюша ушел на фронт добровольцем в 17 лет и стал сапером. Прошел почти всю войну, а погиб в апреле 45-го при разминировании моста через Дунай. Как нам известно, мост для прохода наших войск уже был разминирован, но появился самолет и сбросил бомбу… Так погиб наш Ванюша. А мой дядя повторил подвиг Александра Матросова и удостоен звания Героя Советского Союза.

С уважением

Людмила Александровна Лукьянова (Гончарова),

заслуженный учитель Бурятии.

Теперь живу в г. Улан-Удэ.

Пять раз переписывала письмо,
не могла справиться с волнением и плачу, и плачу.
Низкий поклон вам, дорогие!

211

Борис Ротенфельд, журналист

Я родился в Киеве в феврале 37-го в старом семиэтажном доме на улице Горького. В дни христианских и революционных праздников дворник, как рассказывала мама, обходил весь дом, поздравлял, и его одаривали пампушками, пирогами, деньгами…

Киев бомбили на рассвете. Потом пели:

«22 июня,
ровно в 4 часа,
Киев бомбили,
нам объявили,
что началася война…»

Мы бежали вместе с другими. Железнодорожного вокзала уже не было – разбомбили. Я – младший, у мамы на руках, моего семилетнего брата Веню нес отец – тот был в гипсе…

Из дневника брата: «Буквально в последний момент отцу удалось устроить семью на переполненную баржу, которую буксировали в Днепропетровск. Плыли несколько дней. Однажды в небе над нами увидели, как немецкий самолет сбил три наших «ястребка» и расстрелял в воздухе двух наших летчиков на парашютах. Многие плакали…

* * *

Из Днепропетровска мы попали в Бердянск (тогда город назывался Осипенко), оттуда в Мариуполь (Жданов). Матросы уступили детям кубрик. Груз – вяленая рыба в корзинах, закрытых рогожей. Дети проделывали в рогоже дырки, вытаскивали рыбу и жевали. В Мариуполе несколько дней провели в порту, ночью услышали стрельбу, а утром узнали про немецкий десант. Все беженцы двинулись дальше.

Потом были Ростов, станция Калач, Сталинград. Помню, как часто плакал от голода маленький Боря, он просыпался ночами и хныкал: «Жадина, дай хлеба». Помню, как мама меняла свои миниатюрные часики – свадебный подарок отца, на каравай хлеба».

В моей памяти от той длинной дороги еще картины: лежащие горами арбузы и похожие на прищепки вяленые бычки на протянутых во дворах веревках…

* * *

К тому времени, когда все уже было продано и обменено, мы оказались в какой-то мордовской деревушке, и наш больной диабетом папа, известный в Киеве часовой мастер, ездил искать работу в ближайший Саратов. Однажды ему повезло, он встретил там своих родных, которые бежали из Могилева со своим комбайновым заводом. Дальше мы уже перебрались к ним в Саратов и прожили там всю эвакуацию. Нас называли не эвакуированные, а – выковырянные, точно…

Запомнилось, как однажды во время немецкого налета разбомбили нефтехранилище. Оно горело недели две, дым заволакивал солнце, и мы, пацаны, собирали еще горячие иззубренные осколки.

Запомнил казаков на улицах Саратова – они ловили дезертиров…

Помню коричневый подсолнечный жмых, он и теперь мне кажется слаще шоколада. Здоровенные круги этого «шоколада» отец рубил топором на куски. Мы грызли их, а остатки прятали на чердаке, чтобы получить следующую порцию…

Наша мама была комендантом маленького общежития для шоферов авиазавода, который был эвакуирован на другую сторону Волги в город Энгельс. Нас поселили на кухне общежития, отгородив ее часть занавеской. Машины ставили во дворе перед домом, за которым был небольшой огород, в углу двора «м» и «ж». Водяная колонка на улице. Помню шофера с диковинным именем – Модем Суиндиктов. Утрами он без рубахи мылся во дворе, а я смотрел на его шрам под лопаткой, похожий на звезду. Иногда машины возили продукты для госпиталей, и тогда нам, детям, кое-что перепадало…

Боря Ротенфельд с мамой

Из дневника брата Вени:

«… зимой 42-го несколько дней совсем не было хлеба. Говорили, что хлеб нужен войскам, что немцы уже под Сталинградом… А потом мы снова стояли с Борей в огромной очереди, сжимая в руках разноцветные хлебные карточки. Выручала нас мороженая картошка, из которой делали «деруны». С лета 43-го в Саратов стали приходить американские коробки rations с разными продуктами, но это было редким праздником. Таким же редким праздником было кино. Зимой – санки, благо рядом был крутой спуск в овраг. И конечно, возились с дровами, носили воду. Основным развлечением были книги, которые приносил отец, «Робинзон Крузо», подшивка журнала «Юный натуралист» за 1935 год, «Животные-герои» Сетон-Томпсона, «Витязь в тигровой шкуре». Эти книги вернулись вместе с нами в Киев. Но это потом. А пока вокруг нас в Саратове следы войны повсюду. Мы слышали, как бомбили Энгельс, видели, как после Сталинградской битвы в феврале 43-го через Саратов шли колонны пленных немцев…»

* * *

Вернулись мы в Киев сразу после его освобождения в ноябре 43-го. Город был сильно разрушен. То, что не могли немцы взорвать при отступлении, они выжигали огнеметами. От нашего

дома на улице Горького осталась одна коробка. Тот самый дворник, как нам рассказали, выдал всех евреев нашего дома, и они ушли в Бабий Яр, а он получил половину их имущества. Так что нам повезло…

Римма Егорова (Исаева), преподаватель

Мне было два с половиной года, когда началась война. Моя сестра Лора пяти лет ходила в детский сад, а я была дома с мамой и новорожденной сестренкой Аллочкой. Наш папа работал начальником литейного цеха на Московском электромашиностроительном заводе памяти революции 1905 года. Вот так он назывался.

* * *

Когда через месяц после начала войны случился первый авианалет на Москву, детские сады стали отправлять в эвакуацию. Вместе с Лорой взяли и меня, потому что воспитателем работала мамина подруга. Отец наш Михаил Федорович Исаев оставался на своем посту в Москве. Завод перешел на военное положение, делал боеприпасы. А часть завода с семьями и наша мама с малышкой эвакуировались. Но сначала уехал наш детский сад в городок Котельнич.

И вот тут память засекла первое потрясение. Я помню, как нас погрузили ночью в полутемные вагоны. И ехали мы в полной темноте, видимо, из-за боязни авианалета. С нами была Анна Степановна, одна воспитательница на вагон, других не помню. Бегала она между нами, утешала. А что утешать, когда все в рев такой, будто конец света, мы носами к окну, глядим на бегущих рядом с вагоном матерей. Господи, как же мы плакали и как кричали наши мамы! Эту картину не забыть, не рассказать спокойно. От слез больно – перед глазами рельсы, шпалы, бегущие женщины и мама с папой…

Помню, поселили нас за высоким сплошным забором. Жили мы хорошо, о нас заботились, купали, сказки рассказывали, елку ставили, Дед Мороз был. Осталось впечатление от того времени, что нас именно сохраняли. Нам и дом, и родителей заменили. Почему я помню этот наш высокий забор? Потому что, когда у нас по режиму было время гулять, мы бежали к этому забору. Тогда мода была детсадовская – у девочек фартучки с кармашком впереди. И у нас с Лорой были такие поверх платьиц в горошек. Все мы одеты были одинаково. У мальчиков были светлые рубашечки тоже с кармашками. В этих наших кармашках мы прятали кусочки от обеда. Нас кормили, как положено: и первое,

и второе, и компот. Так вот, сбереженные кусочки мы клали на землю у забора. А нас всегда ждали, с той стороны из-под забора ручки, ручки, ручки… Местные дети сильно голодали, лебеду ели. Столько лет прошло, а я, простите, каждый раз плачу, когда вспоминаю эти просящие ручки из-под забора…

Запомнилось, как приходили похоронки в садик. Почему они туда приходили, не знаю, но думаю, потому, что родители у некоторых детей были оба на фронте, и оставался только один адрес – ребенка. И еще, конечно, взрослые их получали, наши воспитатели и няни. Заплачет кто-нибудь из взрослых, и мы за ними…

* * *

Помню, как ездили в госпиталь выступать. Кто стихи читал, кто пел. А я танцевала в номере «Матрешки». Первая матрешка Лора, потом две сестренки Валя с Юлей и в конце самая маленькая я. В награду за концерт нашим мальчикам в кармашки положили кусочки сахара. У каждого раненого был свой подарок для одного из нас. Помню, мой раненый был на костылях, он повел меня в палату и подарил тарелку малины. В его палате были лежачие, которые не могли быть на нашем концерте. Кроватей было очень много, и они так плотно стояли, что мы бочком подходили к ним, нас о чем-то расспрашивали, мы разговаривали. Помню, бинты у них были белоснежные. У кого-то не было рук, у кого-то ног, у кого-то голова в бинтах, как в шапочке…

И еще помню, были настоящие качели в саду госпиталя, на которых нас раненые катали, но все мы как один от страха кричали, кроме нашей Лоры. И про нее говорили – эта летчицей будет. Когда мы снова поехали в госпиталь, то нашего номера «Матрешки» уже не было, он распался. У сестренок Вали и Юли погибли родители, они оба были на фронте, и девочек отвезли в детский дом. Ох, как нас растаскивали, как мы рыдали…

* * *

В Москву вернулись с мамой, когда еще шла война. Отца дома не видели. Мы спали, когда он уходил на завод и когда приходил. Бывало, и там ночевал. Завод работал ночью. Я и Лора бегали к нему на работу. Мы жили на улице Грузинский Вал, а завод был рядом – на улице Пресненский Вал, за Белорусским

вокзалом. Удивительно, но нас пускали. Я видела в цехах этих мальчишек на ящиках, подставленных у станков для роста, и среди них мою двоюродную сестру Таню 14 лет. Ее отец погиб на фронте, и папа всех троих сирот своей сестры забрал на завод. Наш папа был удивительной судьбы, он родом с Волги, в 9 лет пришел пешком в Москву в страшный голод. Он не просто выжил мальчишкой, но и учился все время, потом институт окончил. Помню, если днем отец заходил домой, он садился на диван и начинал разговаривать сам с собой. В любое время, даже ночью, стучали женщины к нам в окно и просили папу отпустить их с работы – только на два дня приехал сын, ну или муж, или дочь. Папа за них сам вставал к станку. И говорил маме, что беда – не с кем работать, женщины да дети в цеху, а план большой! Отца наградили орденом Трудового Красного Знамени. За давностью лет можно признаться, мама давала нам папин орден строго дома поиграть, у нас ведь совсем никаких игрушек не было. Я помню папин кабинет, кожаный диван, телефон, чай на столе. А за дверью ящики с земляной формой для отливки гранат, опока называется. А больше всего я любила смотреть, как металл раскаленный льется – потрясающая картина!

Помню, как однажды случился на заводе взрыв, и дом наш тряхнуло… Как туда народ бежал! И мы со всеми. Ворота открыли настежь для «скорых». Рабочие взялись за руки живой цепью, никого не пускают на территорию. Женщины напирают, ревут сирены «скорой», машины одна за другой. Я все это видела! Грузят носилки закрытые простынями. Женщины коридором стоят, только бы дотянуться до края простыни, откинут ее, чтобы руку увидеть – мой или нет? И крики такие, что нет сил и слов передать!

* * *

Гибли люди не только на фронте. На заводе рабочих рук не хватало катастрофически, поэтому люди работали по несколько смен подряд. Помню, как хоронили 12 мальчишек, которых прислали из ФЗУ или по оргнабору Трагическая смерть. Для них освободили большую комнату под общежитие в нашем длинном заводском бараке, где жила 21 семья. Поставили им стол, а кроватей еще не было, а может быть, нары собирались построить, не знаю. В общем, спали они на полу на матрасах. И вот после работы, сколько у станка отстояли – не знаю, свалились и крепко заснули. И даже не проснулись, когда их ели крысы…

У нас в комнате возле дверей стояла палка. И когда мама нас, девчонок, провожала в туалет, она сначала палкой там стучала, отпугивала крыс. А у каждой семьи в комнате жила кошка. И все равно, помню, одного ребенка тоже не уберегли. Ходила санитарная служба, кричала «мыши, крысы?». Конечно, травили, но от их агрессии все тогда страдали, старые москвичи помнят…

* * *

Вспоминаю, как на коммунальной кухне устраивались банные дни. Сначала мамы моют девочек, потом мальчиков. Хотя и в Пресненские бани мы тоже ходили. А бывало, и к папе бегали в душ на завод попозже вечерком. И еще помню, как к нам приходила врач Духнина из детской поликлиники. Матери говорили: «Сегодня Духнина будет, кто с детьми останется?» А нас после эвакуации всех детей на коридор собралось 57 душ! Но ничего, как-то жили-выживали! И вот Духнина, светлая ей память, приходила на кухню, надевала белый халат и нас осматривала. Мы до трусиков раздевались. Сначала собирались одни девочки, потом мальчики. И каждому что-то она выписывала, буквально каждому! Кому капли глазные, кому полоскания, кому рыбий жир…

* * *

Я не забуду никогда послевоенный голод 47-го года, о котором почти не говорят. Тогда у нас как раз Валя родилась. Папа ждал сына и придумал имя Валентин, но родилась четвертая девочка. Она была очень-очень маленькая и похожа на сморщенную старушку. Помню, маме как кормящей достали квашеную капусту, и потом мы называли Валю «капустницей». Один раз нашей Лоре на улице сказали: «Такая большая, а в куклы играешь». Ей было 12 лет, мне – 9. А когда услышали, что мы сестренку нянчим, – не поверили, даже одеяльце откинули – «правда, ребенок»… Очень было голодно, и перебои в Москве с хлебом и продуктами. Даже дрожжевой коктейль исчез, который детям давали для поддержания, благодаря которому, я считаю, мы в войну выжили. И тогда папа принес для детей с завода рыбий жир, который шел для того, чтобы пропитывать опоку формовую. Мне кажется, наша Валечка без него бы точно не выжила. Кстати, когда я в 46-м пошла в первый класс, я не могла нести портфель. Очень я была

маленькой – не с чего было расти! А мне было уже 8 – тогда в школу принимали с восьми лет, но портфель я тащила по земле. Тогда мама сшила мне легкую сумку из какой-то военной ткани. Долго я с ней ходила в школу. Мама у нас вообще молодец! Что бы мы делали, если б не ее сапожки из ватина, похожие на бурки, которые она шила на бабушкиной машинке «зингер». Мы под ее стрекот и засыпали. Обуви не было у людей, все за войну обносились, поэтому «бурки» мамины пользовались спросом.

Тогда вдоль всего Грузинского Вала до самого метро была барахолка, стояли в ряд люди, приходили сюда продать, что у них было, а мы просто ходили и смотрели, как в музее. Больше стояли женщины. Кто-то платье держал красивое, а кто-то половинку хлеба или четверть буханки, бывало – и кусочек…

Послевоенный голод понятен, не хватало рабочих рук ни посадить урожай, ни убрать его! Некому было! А крестьяне все сдавали государству и голодали сами. Володя, мой муж – крестьянский ребенок, страшно наголодался…

* * *

А мама наша уцелела совершенно случайно! Ее звали Мария Скаковская. Она родом из Белоруссии, из большой многодетной семьи, которая жила на хуторе в 12 километрах от городка Славное под Оршей. Ее 16-летней девочкой перед войной родители отправили в Голицино под Москву к старшей дочери помочь с детишками. Кстати, вместе с той самой машинкой «зингер», нашей кормилицей. Война забрала у мамы пять братьев. У старшего, Казимира, осталось четверо сирот. А самый младший, Петя, погиб в День Победы 9 мая 45-го во время разминирования. А сестру Тоню 18 лет угнали в Германию, и след ее потерялся. Большой семьи Скаковских не стало!

Детский сад в эвакуации. Слева – Лора, справа – Римма

Илья Белеванцев, военный летчик 1-го класса, капитан

Войну я встретил в Чумайском детском доме Кемеровской области. Мне было 12 лет. В 5 лет я стал крестьянским сиротой, как и мои братья и сестры. Всего мама родила 14 детей, понятно, что не все выжили. Я был тринадцатым, близнецом. В 33-м году наши родители умерли во время страшного голода, печально известного. Это другая трагическая страница нашей истории. Такая судьба выпала на долю нашего детства – позади голод, впереди война! В моем детском доме к началу войны было 120 таких сирот, детей голода, собранных отовсюду…

Все мальчишки рвались на фронт. Бежали мелкими группами, но их ловили и возвращали. До станции Мариинск надо было пройти 3 села, и всего 60 километров. Прорвались на фронт трое или четверо из нас. Воевали и два моих старших брата Сергей и Павел.

Сергей – морской пехотинец, в 42-м остался навечно под Смоленском. Ему было 22. В том же 42-м 19-летний Павел оставил на подмосковном снегу правую руку и прожил еще 9 лет без правой почки и правого легкого. Для меня они герои! Павел после госпиталя окончил школу экстерном в войну и за три года Свердловский геологоразведочный институт. Он успел еще три года поработать начальником партии в Восточных Саянах…

Когда из нашего села Чумай ушли на фронт мужчины, сельсовет предложил отдать часть коров и лошадей детскому дому. Наш директор, светлая ему память, Хохлов Андрей Кондратьевич (не подлежал призыву), с радостью согласился, поскольку с началом войны детский дом был снят с госдотации и должен был перейти на самообслуживание. Мы получили 14 коров, 12 лошадей и еще свиней и кроликов. Была даже маленькая пасека и 20 гектаров пашни. Старшие девочки научились доить и ухаживать за коровами. А мальчишкам надо было приручать лошадей – дали монгольских необученных. Для многих лошадь была и отрадой, и верным другом.

Первую военную зиму поголодали. Ведь мы растем, а норма хлеба – 250 граммов. На кухне три котла по 100 литров: под суп, второе (каша или картошка) и чай. Эти котлы с водой кипят, а наш директор ищет по селу, чем их заправить…

К весенней посадке в 42-м картошки, конечно, не было. Но звеньевая Анна Картавая, депутат Верховного Совета, подарила нам семенной картошки. Это был сорт «Лорк», который давал у нее до 800 центнеров с гектара. В итоге осенью 42-го детский дом убирал свой первый урожай! Мы были абсолютно счастливые!

Кстати, 8 детдомовцев были удостоены медали «За доблестный труд в ВОВ». Мой друг Володя Рудковский – мы с ним как братья – первым получил награду, потом я и другие ребята. И наш директор – тоже!

Каждое лето мы заготавливали 3–4 бочки черемши, по-местному «колба», мощный концентрат витамина С. (Я и сейчас у себя на даче в Майкопе выращиваю.) Мне как председателю Совета детдома директор ставил задачу: чтобы не было больных! У нас и потерь не было! К концу войны все 180 душ выжили! А всего через детдом прошло до 600 воспитанников. Десять классов окончили 7 человек. Мальчишек обычно отправляли в ФЗУ (фабрично-заводское училище). Летом 42-го отправили сразу 63 человека на эвакуированные заводы в Новосибирск, Кемерово, Барнаул и Томск. Сбежал только один Коля Куликов. Он вернулся в детдом и залез на пасеку за медом. Но мы преподали ему урок по законам военного времени. Связали дезертиру руки, надели на него пустую рамку из разоренного

улья и провели по трем спальным корпусам. Директор увидел наш самосуд и попросил Колю освободить. Николай вернулся в свое училище.

Помню, в 42-м к нам прибыло еще 60 сирот из Поволжья. В том числе немецкая семья – семь братьев Бауэр. Отец их был призван в армию переводчиком. А мать погибла на глазах у детей от прямого попадания бомбы в их эшелон. Старший – Филипп 16 лет, затем Павел, Петя… и младший Карлуша двух лет. У нас был негласный сговор – никто не дразнит этих ребят, а если кто сказал «немчурята», тому хорошо драть уши…

Спустя много лет в 75-м году я побывал на Алтае, в Чумае и встречался с Петей Бауэром. У него пасека 130 ульев. Его мед закупают японцы, а у них «губа не дура», предгорный алтайский мед – один из лучших в мире.

Среди моих летных книжек хранится справка Чумайского сельсовета о том, что я с 13 лет работал в детском доме – «…с 1942 по 1945 г. на летних каникулах с июня по сентябрь включительно работал учеником портного, бригадиром дровосеков (дневная норма – 12 куб. м на 3 подростков) и косарем. Получал зарплату на лицевой счет, обшивая воспитанников детского дома. С 1944–1945 гг. во время летних каникул – младший воспитатель».

Я помню, что за летний день я успевал скроить и сшить 8 брюк с одним карманом – правым. А желающим заказать и с левым карманом ставилось условие – неси морковки и гороху…

Такая вот у меня нескучная биография детдомовца! После 10 классов, пошел в Томский пединститут на исторический факультет, а потом было Фрунзенское военное авиационное училище летчиков, окончил с отличием. В итоге – 9 тысяч часов налета на 15 типах самолетов без царапины себе, людям и технике!

Дина Левина. Из семейного архива журналиста Матвея Ганапольского. Воспоминания матери

Но сначала вот это.

> «ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО.
> Вечернее сообщение. В течение 21 сентября наши войска вели бои с противником на всем фронте. После многодневных, ожесточенных боев наши войска оставили Киев…»

А 28 сентября на афишных тумбах, стенах домов и заборах появились объявления на русском, украинском и немецком, которые начинались так:

> «Все жиды города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на угол Мельниковской и Дохтуровской (возле кладбищ). Взять с собой документы, деньги, ценные вещи…» И далее подробно об угрозе расстрела.

* * *

Следующий день – 29 сентября глазами 12-летнего свидетеля Толи Кузнецова, записавшего все увиденное в толстую тетрадь. В то утро, когда Толя наблюдал за всем происходящим со стороны, другой ребенок – Дина Левина в это самое время шла внутри скорбного шествия.

После окончания Литературного института Толя стал писателем Анатолием Кузнецовым и написал роман-документ «Бабий Яр». Привожу с некоторыми сокращениями фрагмент из этой книги, из главы «Приказ». То самое 29 сентября.

* * *

КУЗНЕЦОВ: «Конечно, я не мог пропустить такое невероятное зрелище – вывоз евреев из Киева. Дождавшись рассвета, я выскочил на улицу. Они выходили еще затемно, чтобы оказаться пораньше у поезда и занять места. С ревущими детьми,

со стариками и больными, плача и переругиваясь, выползло на улицу еврейское население огородного колхоза…

Меня потрясло, как много на свете больных и несчастных людей.

Кроме того, еще одно обстоятельство. Здоровых мужчин мобилизовали в армию, остались одни инвалиды. Кто мог эвакуироваться, у кого были деньги, кто мог уехать с предприятием, те уезжали. А осталась самая настоящая шолом-алейхемовская беднота, и вот она выползла на улицы.

Да, зачем же это? – подумал я. – Нет, это жестоко, несправедливо, и очень жалко Шурку Мацу; зачем это его выгоняют, как собаку?!

В судорожном возбуждении я шнырял от кучки к кучке, прислушивался к разговорам, и чем ближе к Подолу, тем больше людей становилось на улицах. В воротах и подъездах стояли жители, смотрели, вздыхали…

По Глубочице поднималась на Лукьяновку сплошная толпа, море голов, шел еврейский Подол. О, этот Подол!..

От шума и галдения у меня голова лопалась. Сплошь разговоры: куда повезут, как повезут? В одной кучке только и слышалось: «Гетто, гетто!» Подошла взволнованная немолодая женщина, вмешалась: «Люди добрые, это смерть!» Старухи заплакали, как запели…

Кто-то возмущался: как можно так сеять панику! Но уже было известно, что какая-то женщина отравила своих детей и отравилась сама, чтобы не идти. У оперного театра из окна выбросилась девушка, лежит накрытая простыней, и никто ее не убирает.

Вдруг все вокруг заволновались, заговорили, что впереди, на улице Мельника, стоит оцепление, туда впускают, а обратно нет. Тут я испугался. Я устал, у меня гудела голова от всего этого, и я испугался, что не выберусь обратно и меня увезут. Стал проталкиваться против толпы, выбрался, потом долго шел по опустевшим улицам – по ним почти бегом спешили редкие опоздавшие…

Придя домой, увидел деда, он стоял на середине двора, напряженно прислушиваясь к какой-то стрельбе, поднял палец.

– А ты знаешь, – сказал он потрясенно, – ведь их не вывозят. Их стреляют.

И тут до меня дошло. Из Бабьего Яра неслись отчетливые, размеренные выстрелы из пулемета: та-та-та, та-та… Тихая, спокойная размеренная стрельба, как на учениях. Наш Бабий Яр лежит между Куреневкой и Лукьяновкой, чтобы попасть на кладбища, стоит только перейти его. Их, оказывается, гнали

оттуда, с Лукьяновки, в этот наш овраг.

Дед выглядел озадаченным и испуганным…

На дворе было холодно, все так же дул пронзительный ветер, как и вчера.

Я все выбегал, прислушивался. Бабка вынесла мне пальто и шапку, слушала сама, заламывала руки, бормоча: «Боже, и бабы там, и деточки маленькие…» Мне показалось, что она плачет. Обернулся – она крестилась, стоя лицом к Бабьему Яру:

– Оченаш, жои си… на небеси…

На ночь стрельба прекратилась, но утром поднялась снова. По Куреневке говорили, что за первый день расстреляно тридцать тысяч человек, остальные сидят и ждут очереди.

Бабка пришла от соседей с новостью. Во двор огородного хозяйства прибежал 14-летний мальчик, сын конюха колхоза, рассказывает ужасы: что там всех раздевают, ставят над рвами по нескольку человек в затылок, чтобы одной пулей убивать многих; положат штабель убитых, присыпают, потом снова кладут, а много недобитых, так, что земля шевелится и некоторые выползают. Он выполз и прибежал.

– Его надо спрятать! – сказала мама. – В окоп.

– Сынок, воскликнула бабка, – беги скоренько, покличь его, накормим да сховаем.

Я поспешил в огородное хозяйство. Но было уже поздно. У ворот стояла телега, запряженная понурым коньком, на ней сидел немецкий солдат с кнутом. Другой солдат, с ружьем подмышкой, вел из ворот бледного мальчишку…»

* * *

Тот же день – 29 сентября. Маленькая семья Дины Левиной из еврейского района Подол вместе с потоком других обреченных направлялась на киевскую голгофу, которую назовут Бабий Яр. В их семье два человека – мама Клара и 13-летняя Дина. Отца с ними нет – он, как и многие молодые здоровые мужчины Подола, призван в армию. Теперь у Дины все позади – школа, занятия балетом. Впереди расстрел!

* * *

ДИНА: «Это было ужасное шествие. Молодежь, старики, молодые мамы с грудными детьми, с колясками. Все шли и не знали, куда и зачем. Одни говорили, что их будут вывозить,

другие не верили…

Потом пошли улочки поуже и все скорбно молчали, многие тихо плакали. Позже шли уже цепочкой сквозь строй немецких солдат с овчарками. У людей забирали документы, ценности, деньги и одежду. Стала слышна стрельба, пулеметные очереди. Людям командовали – «раздеваться» и направляли вверх по тропинке. А там ставили лицом к яме, спиной к пулеметчикам. Я видела, как впереди старые евреи молились и плакали. И уже было видно, как люди падают в яму. Здесь на краю стоял крик и плач невообразимый. Общий хор отчаяния – дети и взрослые!

Мы с мамой молчали, от ужаса потеряв дар речи. Раздетые до нижнего белья мы, держась с ней за руки, поднялись на самый верх тропинки. Теперь наша очередь. Когда начали стрелять в нас, мама потеряла сознание и упала. Наши руки расцепились, мы обе полетели вниз. Я не могу все это передать, нет таких слов. Боли не чувствовала, когда ногу прострелило. Помню, что не было сил кричать, я только звала:

– Мама, мама…

Немцы еще стреляли, вверху кричали и на нас падали тела, я стала задыхаться. К ночи стрельба закончилась, я стала выбираться. Кто-то недостреленный тоже пытался выбраться. В памяти осталась безумная картина – люди, люди, люди… много людей сваленных друг на друга. Маму я не нашла. Выкарабкаться из ямы было трудно, не за что было уцепиться.

Под утро я, наконец, выбралась и направилась к ближним домам. Меня жалели, но говорили – «уходи, а то всех убьют». И я пришла в наш двор, где мы жили. Очень хорошие наши соседи-украинцы Щур – Галина и ее муж Андрей. Меня покормили, я пробыла у них немного, но оставаться там было нельзя, так как немцы прятавших тоже убивали.

Я ушла и скиталась, где могла. Встретила однажды мою одноклассницу Валю Тарасенко, которая привела меня к себе и я пробыла у них несколько недель. Тоже очень хорошие люди. Их соседи меня видели, никто не выдал.

Потом ушла из города и скиталась по селам под вымышленной фамилией. Мне выдали справку и с этим документом я жила. Хотелось найти партизан, но мои поиски закончились тем, что я попала в тюрьму. Там били, но потом выпустили…

Как я смогла выжить, не понимаю. Я часто и много плакала, потому что в себе хранила страшную тайну моего спасения из ада и доверить ее никому не могла. Я вообще была абсолютно одна посреди войны и однажды на улице я попала в облаву – меня отправили в Германию…

Шел 43-й год. Мне было 15 лет. Но в 41-ом меня расстреляли вместе с мамой в Бабьем Яре».

P.S.

Свидетель – Дина Аркадьевна Левина скончалась летом 2012 года.

Другой свидетель нашей истории – Анатолий Васильевич Кузнецов – ушел от нас в 1979 году.

Из письма Татьяны Невской (г. Иваново)

Я дитя войны из Иванова. Сегодня мой город входит в «Золотое кольцо России», а во время Великой Отечественной он был прифронтовым. Это значит, что все школы и общежития вблизи трамвайных путей были госпиталями, то есть раненых доставляли чуть ли не с поля боя. А трамвайный путь начинался от привокзальной площади.

Помню лето 41-го года. Мне 5 лет. Мы, дети, бежим к соседскому общежитию, у которого остановился трамвай. Он странный теперь, наш трамвай, к нему прицеплены грузовые платформы, на которых сидят и лежат раненые бойцы в засохших от крови бинтах. Их начинают выгружать. От трамвая им надо дойти до общежития метров 80. Они идут мимо нас – кто сам, кого несут на носилках. Мы видим первых раненых. Никто нас не отгоняет, никто нас вообще не замечает. Вот так мы увидели войну, хотя над нами было чистое летнее небо. В наше детство вторглась беда через эти отрешенные лица, бинты и трамвайные платформы…

Все госпитали в городе были специализированные. Моя мама работала в госпитале «брюшников», так называли раненных в живот. Я посещала круглосуточный детский сад, но оттуда сбегала к маме, когда уходили воспитатели и оставалась дежурная няня. Мама всегда была занята, к тому же все равно деть меня некуда, и я оставалась в госпитале. Часто я прибегала туда во время ужина и заходила в столовую к раненым. Видимо, я напоминала им собственных детей, и они меня угощали, чем могли! Иногда приглашали в палату и тоже угощали «сахарком». Некоторым хотелось поговорить со мной, и тут уж я себе не отказывала – говорила про садик, про девочек и мальчиков, стихи читала. Обычно меня отводили потом к маме, а иногда она сама меня отлавливала, всегда испуганная…

* * *

Помню, наш большой трехэтажный дом с коммунальными комнатами, общим коридором, кухней, умывальной. «Черные тарелки» были не у всех. Наш второй этаж собирался в одной комнате и слушал «важные сообщения». Матери молчали, и мы – дети молчали. И так было тихо и тяжело, когда Левитан говорил: «После тяжелых и упорных боев наши войска оставили город…»

Начали приходить в наш дом похоронки. Почтальоны отдавали письма нам, потому что матери работали сутками. Так случилось и у меня! Почтальон отдал извещение, а я его спрятала в один из ящиков комода. Наверное, хотела оттянуть время, ведь я уже знала и видела эти страшные бумажки. Моя мама обнаружила извещение об отце спустя несколько месяцев…

И опять слушали «важные сообщения». Его позывные остались в памяти на всю жизнь! И Левитан уже читал по-другому, не трагически: «Наши войска освободили Орел, Харьков…»

Как мы все радовались, хотя в доме были вдовы, как моя мама, и сироты, как я!

* * *

Хорошо помню пленных немцев. Около нашего дома был стадион, его не успели достроить. И вот шла еще война, а его стали достраивать пленные.

В нашем доме отопление было печное, и, конечно, дрова были ценностью. И мы, дети, стали ходить на стадион за стружками. Так начались наши контакты с пленными. Они в корзины наши стали закладывать деревянные обрезки, а сверху засыпать стружками. Так можно было спокойно проходить мимо охраны. Но мы были не такие маленькие и все понимали, все видели. Время было голодным для всех – для нас, хотя мы имели карточки, и для пленных. И вот, не говоря взрослым, мы стали экономить кусочки хлеба и приносить пленным. Многих мы знали по именам, они показывали нам фото своих детей и катали на вагонетках с песком…

Стадион они достроили! Их творение прослужило городу 50 лет! И лишь несколько лет назад его стали реконструировать!

От мамы я знала, что в госпитале она сдавала кровь, как и другие медики. Узнала от наших мальчишек «под большим секретом», что в северной части города живут летчики-французы. Как выяснилось, у нас останавливалась знаменитая эскадрилья «Нормандия – Неман».

Вот только несколько страниц жизни из того незабываемого времени…

Иван Николаев, токарь-универсал

Я родился под Вязьмой, в деревне Реутово. На мое детство пришлась оккупация – с октября 41-го по март 43-го. Вяземский «котел», как известно, был самым многочисленным – это сотни и сотни тысяч наших окруженцев. Шли они и через нашу деревню, их покормят, с собой что-то дадут, они отдохнут и снова идут, да только немец-то был на колесах…

В общем, у Вязьмы трагическая история: дважды в 42-м наши пытались освободить и оба раза неудачно, с большими потерями. А это путь на Москву через нас. Много лет об этом молчали, да и сейчас мало говорят…

* * *

И вот как жить среди военного хаоса мирным людям? Никак невозможно! И это надо учесть, что у нас в Реброве враг не зверствовал. Но, конечно, начал с того, что скот, птицу истребил, запасы забрал, и это значит, для нас наступил голод. Отлично помню – «матка, млеко, яйки». А в 43-м при отступлении враг сжег деревню. Нас выгоняли из домов и поджигали, ну чтобы наступающим негде было голову приклонить.

До оккупации Реброво было большим селом – 45 домов, а уцелело 12 или 13. В одном из них потом сделали школу. Остальной народ рыл землянки. А кто их рыл? Голодная ребятня, женщины да старики. В нашей округе много деревень полностью сгорело, как Бекасово. Там, говорили, и брата с сестрой повесили как партизан…

До войны мы жили большой семьей – 9 человек. Мама, отец, нас пятеро детей и дед с бабушкой. Бабушка была неродной матерью отца, родная умерла, но мы этого даже долго не знали. Я восстанавливал историю семьи для себя, для детей. Дед и прадед были крестьянами-единоличниками. Жили хорошо по старым меркам – свое небольшое хозяйство. Зимой, когда работы в поле не было, запрягали лошадь в сани и ездили по деревням, шили одежду верхнюю – тулупы и прочее. Без этого прожить было труднее. И отец с мамой тоже ездили. Тогда-то мама и начала шить с 18 лет, после войны она будет шитьем спасать семью от голода. А деда потом все равно принудили вступить в колхоз, иначе – высылка…

Отца нашего – главного кормильца Григория Николаевича Николаева призвали на фронт, определили ездовым. Ему было

38 лет. После первого ранения он выживет на Курской дуге, где, по его словам, небо было черным от самолетов, но в конце войны будет ранен тяжело, долго будет лечиться по госпиталям, в 46-м вернется инвалидом, и я его не сразу признаю. Помню, я тогда уже ходил в московскую школу и вместе с мальчишками бегал во дворе. И тут какой-то солдат с медалями, на костылях хромает к нам, спрашивает, не знаем ли мы, где тут живут Николаевы. Я даже не понял, что это мой отец, глаз не мог оторвать от его красных американских ботинок с обмотками вместо сапог. И вдруг наша бабушка, его мачеха, как закричит: «Гриша-а!»

Вот так отец нас разыскал в Москве, на Дмитровке! Уходил на фронт – оставалась семья, дом, двор, полный живности. А вернулся – ни деревни, ни кола ни двора, и уже нет отца и старшей дочки. Война семью раскидала. Хорошо, что уцелели в оккупации остальные, и хорошо, что комната есть у мамы в рабочем общежитии, куда мы потом стали к ней собираться. Помню, вещмешок отцовский, там были такие гостинцы – 2 плавленых сырка и в махорке несколько кусочков сахара…

* * *

Нам всего недоговаривали, но потом мы узнали, что дядя Боря, мамин брат, спасая младшую сестру – нашу маму, сумел как-то переправить ее на паровозе без документов из Вязьмы в Павшино под Москву, устроил уборщицей, ей дали место в общежитии и рабочие карточки. А нас мал мала раздали по родственникам. Алешу с Галей, восьми и десяти лет, отдали тете в Можайск. Нину 13 лет – в соседнее Алферово. Меня, младшего – *4* года, передали в Реброво в семью дяди Бори. Он был каким-то небольшим начальником на железной дороге, на фронт его не призвали, а перевели в железнодорожные войска. Под крылом тети Веры, его жены, я и пережил оккупацию. Поручили меня 15-летней Маше, а старшую, Нюру 19 лет, угнали в Германию. Через какое-то время она с подружкой вернулась домой. Их эшелон разбомбили по дороге, и они с подружкой сбежали, только Нюра стала заикаться и так до конца дней.

Дом у дяди был большой, и его заняли немцы. У дверей появился часовой. Одни немцы уезжали, другие приезжали. Нас не выгоняли, но проживать пришлось в основном на печке. Женщины иногда что-то готовили им, хотя у них была своя кухня. Иногда мне кидали на печку конфеты, длинные, как карандаши, в обертке. Губная гармошка играла постоянно, и топот сапог помню, когда отплясывали. До сих пор в ушах стоит их музыка,

много я ее наслушался…

Помню, за домом они собирались по вечерам у кострища, конину готовили, и я убегал к ним – мне тоже давали поесть. Маша сильно ругалась, когда оттуда меня вытаскивала. Трудно стало и у них с продовольствием. Все в деревне уже съели давно. Помню, сушили грибы на окне, и много мухоморов было, лечились, наверное…

Это в самом начале они, довольные, въезжали на мотоциклах, а потом у них и гармошки грустно заиграли. А когда началось наше наступление, они стали жечь хаты. Жгли другие немцы, не те, что стояли в деревне. Я помню, как наш дом поджигали. Дом не хотел гореть, а когда они уехали, мы кинулись тушить. Дом спасли, а крыша сгорела. Соломенные были крыши. Я, шестилетка, тоже с хворостиной бегал, тушил…

* * *

Скажу про нашу старшую, Шуру, самую способную. Хотя, если бы не война, кто знает, сколько способных было бы у нас – у Николаевых? Шура в 41-м поступила в московский институт

и осенью со студенческим ополчением уехала копать противотанковые рвы. При налете ее контузило, и спустя пять лет в 46-м она умерла. Мне было 9 лет, и я помню, как у нас на 4-м этаже вдоль длинного коридора стояли студенты с траурными повязками на рукавах в почетном карауле…

Нам учиться уже не пришлось. Очень уж голодно было после войны. Сначала Нина пошла в ФЗО (фабрично-заводское обучение). А потом и мы повторили этот путь – из школы в ФЗО и работать…

Отец поступил в артель инвалидов. Мама шила и фактически стала главным кормильцем. Могла за ночь сшить платье из штапеля. Помню, у нее рядом с машинкой лежала стопка модных журналов, очень красивых. Это привез мой двоюродный брат Коля, капитан, подарок из Германии. А три дяди погибли, один из них – дядя Яша прямо в день Победы в Берлине.

Помню, как я однажды принес домой с улицы деньги, красные тридцатки, целую пачку нашел, сколько счастья было! А мама сказала – это теперь бумага, а не деньги. Реформа в 47-м денежная прошла…

Помню колонны пленных немцев с котелками, они недалеко от нас строили дома двух– и трехэтажные.

* * *

Помню, как-то потерял я продовольственные карточки, скорее всего у меня их вытащили. Я плачу, боюсь домой идти. А мама меня не стала даже ругать. Говорят, без слез на меня нельзя было взглянуть, такой пугливый, такой забитый! Привезли меня к маме в галошах, бечевкой подвязанных, на радио кидался от испуга: кто там чужой говорит? Сам этого не помню, а вот помню мою первую обувь – маленькие лапти, которые сплел еще дед Алексей, чтобы по жнивью ходить. А те папины американские ботинки мама в 47-м продала на Перовском рынке, чтобы купить еды…

Помню, что из всех детей нашего дома – нас человек 30 было – только у меня и еще у двух пацанов отцы вернулись, а остальные – безотцовщина!

* * *

Еще помню, в День Победы меня не пустили из дома, чтобы я в Москве не потерялся. Но в окно нашей коммунальной кухни, которая выходила на улицу, я смотрел на салют, слушал эти

мощные орудийные залпы!

Нет, война не уходит и не уходила никогда от меня. Представьте себе, что я иногда иду по Москве, и вдруг явление – впереди фигура немца с ружьем, ходит туда-сюда часовой! Помню, как зимой он заскочит погреться и опять на улицу, туда-сюда вокруг дома…

Или на Дмитровке есть дом 8-а, где мы раньше жили, там сквозь краску можно рассмотреть большие буквы «бомбоубежище». Я когда там прохожу, всегда смотрю, видны буквы еще или нет, я их вижу. А уж губную гармошку мне напоминает иногда просто любая музыка.

Жена моя Татьяна Дмитриевна тоже войну забыть не может. Она из-под Рязани, деревня Каменка. До них немец не дошел, но в бомбежки насиделась в окопе, потому что там близко железнодорожный узел, который постоянно бомбили. Таня тоже одна из пяти детей. Старший брат Евгений погиб под Ленинградом. Отец прошел всю войну, танкист, вернулся с простреленным легким, кашлял кровью и быстро умер. Наголодалась она в детстве, колхозы строго все отдавали государству. Теперь ее не остановишь – заготовки каждую осень – банки с овощами, ягодами в обязательном порядке. Это страх голода. Она даже после детского дома кулинарное училище выбрала – голода не будет, если ты повар!

Дополнение от самой Татьяны Дмитриевны.

Каково было маме в одиночку нас четырех поднимать,

сегодня трудно даже представить. В деревне без мужчин обречен на нищету. Помню, налог с каждого двора был такой, что семье оставались крохи, на которые прожить нельзя. А на палочки-трудодни не выживешь. Лебеда горькая и корешки для многих были нормой в черные дни. Летом грибы и ягоды выручали, но мама столько работала в колхозе! А мы по хозяйству ей помогали. Крестьянские дети-труженики все умеют – печку топить, воду носить, полоть, пасти, друг дружку нянчить, колхозу помогать…

Вот помню, один налог на мясо чего стоил! Такая печаль была для мамы! Каждый год обязан сдать столько-то мяса! Однажды ночью к нам приехали забрать овец. Овцы – это последнее, что было у нас. Мама защищала их, просила детям оставить хоть одну овцу. Семь овец – погодки, и ягнята были. Мы с печки видели, как маму оттолкнули и забрали всех овец, ягнята погибли. Еще помню, как машинку «зингер» забрали в счет налога. Мама ездила жаловаться куда-то, ведь детей одеть не во что – все нам матери сами шили и перешивали. Машинку вернули…

Колхоз был у нас большой. Поля все засеяны и сад тоже большой. Все строго охранялось и все уходило вагонами. Чтобы заработать рубли, кроме трудодней, которые оплачивались рожью или другой натурой, мамочка наша Александра Васильевна нанялась грузить вагоны. Без денег ведь ничего не купишь! Что делать, война отняла ее мужчин – мужа и сына! И вот однажды у нее в галошах нашли зерно – детям на лепешки. Ее осудили. Так я оказалась в Рязанском детском доме в Дашково-Песочне, где была, наконец, сыта и одета! А после семи классов я совершенно сознательно выбирала профессию повара-кулинара, чтобы защитить себя от голода.

Анна Чеченкова (Постникова), водитель трамвая

Перелистывая свой пожелтевший блокнот, я увидела эту запись и, что называется, застряла на ней, вспомнила мою случайную попутчицу в подмосковной электричке. Маленькая, крепенькая и улыбчивая, как ребенок. На тот момент у меня не оказалось с собой магнитофона, поэтому я достала потихоньку блокнот, на который она, кстати, и не собиралась обращать внимания. Ей главнее всего было говорить, вот так – глаза в глаза. Видимо, я тронула струну, которая давно молчала, но от этого не переставала быть строго натянутой. Ей важен был слушатель, попутчик, с которым ее объединяло место и время, вагонный перестук и картинка за окном – перелески и рельсы, которые то бегут, то сливаются, то пересекаются. Как люди…

Сохраняю почти телеграфный стиль блокнотной записи этого монолога.

* * *

Сорок один год водила трамвай. С 17 лет. Бауманское депо. У меня были самые длинные маршруты. Я деревенская. Нюшка. Нюшка я, да! Из-под Рязани. Мое село – Ново-Красное, рядом город Сапожок.

Война началась – мне было 14. Копали окопы, линию обороны строили. Фронт почти до Рязани дошел. От нас каких-то 20–30 километров. Можно сказать, повезло. Помню, один раз низко-низко пролетел самолет над нами. А я в это время наверху землю отбрасывала от края окопа. И оказалась я на дне окопа, засыпанная землей. Пришла в себя, слышу из-под земли – плачут надо мной. Маша, сестра моя старшая, кричит: «Нюша, ой, Нюша!» Вылезла я из-под земли вместе со своей лопатой. Глухоту не сразу заметила. А вот руку мне разгибали все по очереди. Как будто пальцы приклеили к лопате, к черенку…

После этого случая мы – девчонки, стали отказываться, просто не шли на окопы. Нас наказали. Отправили на торф – это топливо для электростанций. Рубили мы его и на тележки грузили. Помню эти корзины по 7 килограммов. Мы как в цирке – по качающемуся болоту, как по батуту! Кто в сапогах, кто в лаптях, кто в мужских ботинках. И мерзлый торф рубили тоже, а потом еще носили поклажу по наклонному настилу

из досок прямо в открытые вагоны, вернее, платформы. Это была каторга. До 17 лет. А бывало, домой отпустят передохнуть, так мы от школы еще идем за колосками. Я была бригадиром. Учиться толком не пришлось. Зимой голодовали, я с младшей сестрой Шурочкой ходила просить милостыню по соседним деревням. Один раз – дело было к весне, в разлив попали и чуть с ней не утонули. Мама не стала нас отпускать. Отец быстро от голода умер. Он маме все говорил: «Не надо мне, отдай детям». Как будто виноватость чувствовал. Чахотка к нему перед войной привязалась, откуда взялась? Ну а военный голод, тут все быстро и закончилось. Потом уже мама вышла за вдовца, своего же деревенского с двумя детьми, ну правда, старший, Степан, погиб. До чего хороший рос парень! Мне был бы братом хорошим…

* * *

А голод-то еще почему такой был? Через нас гоном шла скотина в тыл. Из-под Орла, из-под Смоленска, из-под Тулы… Все поля были вытоптаны. Урожай в 41-м погиб. А в 43-м обратно шел скот – уже на освобожденные места. И трактора с комбайнами угоняли своим ходом. Только ничего не вернулось. Говорят, все сгинуло в распутицу. Мы сами в плуг запрягались…

Помню, до войны отец купил лошадь рыжую. Такая хорошая, на месте не стоит! Любил он ее, ленточками украшал.

Говорил – «не пропадем теперь!» Война пришла, колхозных лошадей на фронт взяли. А нашу рыжую мобилизовали на трудовой фронт. И загнали. Ну война ведь!

А в 44-м объявили мобилизацию сельской молодежи на строительство, заводы и транспорт. Приезжали в село агитаторы – нужны рабочие руки! Приехала я в Москву, в Бауманское депо. У меня было 5 классов, и я себе сама прибавила еще один, стыдно – 17 уже! А «кадровичка» говорит: «Давай, я тебе напишу 7 классов, и пойдешь учеником трамвай водить!» Освоила я быстро, и даже нос задрала от важности. Приглянулась я Лешке, слесарю из нашего депо, на Доске почета парень красовался. Он из-под Тулы приехал. Вот у них немец стоял. Когда на отца похоронка пришла, так он на фронт хотел сбежать, не вышло – пришли немцы. Но мальчишки им давали прикурить. Он бы вам рассказал про подвиги. Только рано он умер, в 48 лет. Остались мы с дочкой…

Я когда в Москву приехала, пошла искать улицу Моховую, где была приемная Калинина. Уж как мне хотелось там побывать после рассказов нашей мамы. Мне лет 10 тогда было. Дело в том, что моего деда-середняка – я его не помню – раскулачили. Все забрали. Ничего не осталось, кроме дома, где мама уже со своей семьей жила. То есть мы все там жили. И вот надумали наш дом большой, добротный под сельсовет забрать, «излишки» нашли. А нам, значит, на улицу. И тогда наша мама, Федосья Ивановна, взяв на руки Шурочку – самую маленькую и Ваню – ему лет 7 было, поехала в Москву к Калинину помощи искать.

«Народный староста» выслушал маму и правда за нас заступился, он хорошо принял, написал бумагу, и дом нам оставили. Калинин даже угостил их булочками, а когда увидел, как Шурочка прячет вторую булочку, зажав подбородком, сказал: «А дети у тебя голодные». Мама ответила: «Главное, что не бездомные!»

До войны это было, уж быльем поросло, да не заросло в памяти…

Александр Тимофеевский, поэт, сценарист

Мне было 7 лет, когда началась война. И моя память многое сохранила, о чем сегодня могу рассказать…

Война застала меня в доме моей бабушки на Литейном проспекте, 15, в Ленинграде, навсегда любимом моем городе. Но я к тому времени успел не только родиться в Москве – в Лефортове на Госпитальном Валу, а еще и пожить у другой бабушки под Харьковом в городе Изюме. Через несколько месяцев, как известно, там хозяйничали немецкие войска.

В начале 41-го моя бабушка вместе со мной приехала в Ленинград к другой моей бабушке, и, таким образом, я совершенно случайно избежал жизни в оккупации, но попал в блокаду. Поскольку меня воспитывали совершенно замечательные бабушки, моя память, прежде всего, связана с ними! В общем, с бабушками мне повезло, а со временем моего детства…

* * *

Лет с 3–4 себя помню. Любимое место под столом, собираю из кубиков замки и слушаю очередного бабушкиного ученика. Она занималась с отстающими балбесами по русскому языку и литературе. Бабушка говорит: «Прочти-ка нам Лермонтова «На смерть поэта». Он говорит: «Погиб поэт невольник чести…» И замолкает. Я из-под стола: «Пал оклеветанный молвой». А если учесть, что ученики к ней приходили каждый день, и все повторялось, то мой литературный багаж возрастал день ото дня!

Моя добрейшая бабушка Юлия Васильевна Наседкина столько вложила в меня любви сердечной и любви к русской культуре! Помню, мне говорили: «Если ты будешь сегодня вести себя хорошо, то, может быть, тебе разрешат вечером посидеть со взрослыми за столом и послушать, что они читают!» Я, конечно, шалил, как все дети, но меня прощали и усаживали за стол, чем я очень гордился. Взрослые читали Пушкина, Гоголя. Когда стали читать «Вечера на хуторе близ Диканьки», я смеялся так, что даже падал со стула. И только много лет спустя я понял, все это делалось специально для меня…

* * *

А военных воспоминаний очень много! Мне кажется, я помню каждый день, прожитый в блокаде. Но мы приехали в Ленинград, когда до войны оставалось еще несколько месяцев. Я, семилетний, влюбился в этот необыкновенный город. Может быть потому, что мои родители коренные питерцы и это у меня в генах. Просто, когда я родился, папа работал в Москве, а мама была при нем, училась. И по семейным обстоятельствам, скажем так, и при наличии бабушек я детство провел с ними. Дело еще в том, что после моего рождения, в 30-е годы, род Тимофеевских, известный в Питере, серьезно пострадал. Глава семьи – Павел Ильич Тимофеевский, генерал санитарной службы, друг академика Бехтерева, окончивший военно-медицинскую академию, где и преподавал потом, – это мой дед по отцовской линии. Он прошел три войны: Русско-японскую, Первую мировую и Гражданскую, где стал военврачом Красной Армии. А 1 мая 37-го года его арестовали и дали 10 лет лагерей, скончался он в 43-м, в войну. Знаю, что помогал заключенным, лечил их. Кстати, когда пришли за его женой – моей бабушкой Еликонидой Васильевной, их дочь – моя тетя и сестра отца Екатерина Павловна пошла вместо матери. Те, кто пришел арестовывать Тимофеевскую Е. В., не обратили внимания на несовпадение отчества. И Тимофеевская Е. П. – выпускница Академии художеств и живописец три года жила на поселении. На момент моего приезда она уже вернулась и стала моим добрым ангелом-хранителем, любимым другом на всю жизнь!

Она писала замечательные стихи! А в то время из меня тоже сыпались рифмы. И тетя их записывала. Потом уже взрослый я ее спрашивал:

– Когда я писал лучше, тогда или сейчас?

Она с улыбкой говорила:

– Конечно, тогда!

Ее света и любви хватало на всех окружающих. Своих детей у нее не было, замуж она не вышла, знаю, что влюблена была в Ивана Бунина, они знали друг друга. В ранних рассказах Бунина я слышу ее речь…

* * *

А дом наш, большой доходный на Литейном, 15, где мы жили, стоит до сих пор. Только он теперь выглядит по-другому, в него дважды попала бомба и после войны его не полностью

восстановили. А я слишком хорошо помню, что тогда случилось. Я сидел за столом и играл в «печати». Я сидел и шлепал на листах картинки – пограничника с собакой, солдатика, танк, самолет, какие-то еще рисунки. И вдруг меня взрывной волной кидает далеко в противоположную стену другой комнаты, я лбом врезаюсь и слышу вой воздушной тревоги, которой сначала не было! Она завыла потом – так бывало, что не успевали предупредить о налете. Никогда не забуду, как в раскол дома видны были разорванные обои, стулья, детские кроватки. Эта большая бомба, говорили – 500-килограммовая, по счастью не разорвалась. И там случилось невероятное! Наша знакомая каким-то чудом успела обхватить трех маленьких детей, с 5-го этажа до подвала пролетела за этой бомбой и все остались живы! Наш дом был похож на букву «п». Так вот бомба попала в то крыло, которое было прямо напротив нас. В 15 лет, через три года после Победы я написал:

От взрыва, ставший на дыбы,
Как будто острием ножа,
При мне мой дом разрезан был
От этажа до этажа.

Такой, живой и неживой,
Остался он в моем мозгу,
Казалось, что забыть его
До самой смерти не смогу

Страшное впечатление производили дома, расколотые сверху донизу. Там жили люди. И строят дома люди. И бомбы делают вроде бы люди. И направляют их…

Помню, как в парке культуры, кажется, на Васильевском острове, был выставлен первый сбитый немецкий самолет. Помню, как поднимались дирижабли, которые должны были нас защищать при налетах. Помню солдат, проходивших мимо, видно было, что идут на фронт, а фронт был рядом. В те времена воздушная тревога почти не прекращалась. Долгое время до центра самолеты не долетали. А потом стали долетать, и мы без конца сидели в бомбоубежище. В самом начале – осенью 41-го от воя сирен становилось очень страшно. Помню, как во время тревоги мне дают конфету, чтобы хоть как-то отвлечь, а я им кричу: «Не надо мне вашей конфеты, я не хочу умереть!»

Но потом детство брало свое, мы в бомбоубежище уже носились, играли в «пятнашки», «прятки» и вопили при этом, что раздражало взрослых до крайности. У всех напряжение –

слушают налет, упадет ли бомба, обстрелы еще мучили, а нас никак нельзя унять. Возможно, это была наша реакция на окружающий ужас.

Но я хочу сказать, что я никогда больше не видел столь замечательных людей. На всю жизнь я запомнил их доброжелательными, веселыми и бодрыми, какой-то совершенно невероятной силы духа! У нас была очень большая полукоммунальная квартира – родственники третьего-четвертого круга. Я помню, как один человек варил себе суп из столярного клея. Он был очень худой, и ему требовалось, видимо, больше всех питания. Он раньше всех умер. И я помню, как я поразился тому, что за несколько часов до смерти я слышал, как он пел: «В далекий край товарищ улетает, родные ветры вслед за ним летят…» Вот такие мужественные взрослые были вокруг меня!

* * *

Пожалуй, самым ярким воспоминанием о блокаде был пожар на Бадаевских складах. Ничего похожего я больше в жизни не видел! Это было что-то похожее на картинку с извержением вулкана. Даже не дым, а столбы пламени достигали неба! Говорили, пожарные тонули в сладкой патоке. Там были запасы

сахара и муки, главным образом. Принято считать, что если бы эти склады продовольствия не были уничтожены, тотального голода не было бы.

Зима 41-го была страшная. Самые низкие нормы хлеба – 125 граммов хлеба в день[19]. Мы ели силос. Я был истощенным ребенком и никуда уже не ходил.

Моя энергичная мама решила эвакуироваться, во что бы то ни стало! Дело в том, что в самом начале сентября она приехала за мной, чуть ли не последним поездом и все – кольцо замкнулось, она осталась с нами в блокадном Ленинграде…

Помню аэродром, воздушный бой над нами. От трассирующих пуль разноцветные линии – очень красиво. Помню, бабушки нас провожали, их слабеньких качало от ветра работающих винтов. И вдруг, нас проверяют по списку и летчики говорят маме, что мы должны лететь завтра, а не сегодня. Видимо, мамино отчаяние на них подействовало, и мы грузимся в самолет – это американский «Дуглас». Всего стоят три «Дугласа», в которые идет посадка стариков и детей с матерями. В город они доставляли молоко и муку, а назад забирали людей. Внутри самолета были железные перегородки, и в этих отсеках на мешках, рюкзаках, фанерных чемоданах ютились закутанные люди. В открытом люке, подвешенный на ремнях, сидел пулеметчик. Все говорили – хорошо бы Ладогу пролететь, а там до Вологды уже не страшно. «Мессеры» напали как раз над Ладогой. Один «Дуглас» был подбит и упал. В наш «Дуглас» не попали. А третий был обстрелян, но смог сесть на аэродроме в Хвойном. Мы там же сели. Помню, раненых было много, видел, как выносили окровавленных людей из этого самолета. Истребители, которые нас охраняли в полете, вели бой с «мессерами», но в итоге мы уже остались одни и летели без защиты.

Помню партизан в Хвойном, они нас кормили вкуснейшей картошкой с маслом. Больше я никогда не ел такой картошки – ни до, ни после! И опять мамина настойчивость спасла! Мы улетели на каком-то другом самолете буквально в последний момент. Через 6 часов туда вошли немцы, как мы потом узнали. Это был просто счастливый билет моего спасения. И еще! Как оказалось, что именно в нашу квартиру угодила бомба на следующий день после нашего отъезда. То есть это была вторая бомба в наш дом. И если бы мы не улетели на день раньше…

Бабушек в тот момент не было, а я, скорее всего, оставался бы дома. Потом бабушек эвакуировали по ледовой «Дороге жизни». Но в пути они заболели тифом. А при их ослабленном состоянии

справиться с тяжелой болезнью они не смогли. Вот так погибли мои дорогие старшие.

Но в Ленинграде выжил мой дядя, брат отца Тимофей Павлович Тимофеевский – ученый, исследователь, изобретатель и преподаватель, к тому же родоначальник игрового моделирования. Он дважды выдвигался на Сталинскую премию и дважды сидел от звонка до звонка за участие в «буржуазной» науке. В блокаду он возглавлял базу спецформирований…

Когда мы сели в Вологде, у меня был жар, температура за 40. Помню только небо вологодское надо мной. Меня везут на санках в одну больницу, говорят – корь, потом в другую – скарлатина. И ни там, ни там не берут. Оказалось, и корь, и скарлатина на фоне полного истощения. Больше месяца я пролежал в дизентерийном мужском отделении, куда меня определили. Больницу мало помню, по словам мамы, которая была рядом со мной, я часто был в забытьи. Потом я вспоминал об этом и думал, как ей тяжко там было… Вот отрывок из ранних стихов, посвященных маме:

Будет время, ночь из детства
Обернется пули свистом.
И куда не зная деться
Я прижмусь к сосне смолистой.
Щелк затвора вороватый.
Кто-то в сердце целит прямо.
И опять в тоске проклятой
Закричу я громко: «Мама…»
Ствол сосны чужой и блеклый,
Покачнется вдалеке.
Я усну на теплой-теплой,
Доброй маминой руке.

После моей больницы долго в теплушке добирались в Челябинск к маминым родным. Наш поезд подолгу стоял, чтобы пропустить на запад эшелоны. Я видел солдат в таких же теплушках, орудия на платформах…

К весне мы были в Челябинске. Там не было налетов! Мне казалось странным, что не заклеены стекла и не зашторены окна! Все на Урале было по-другому. И люди другие. Мне там остро не хватало дружелюбия и доброго участия. Неприветливость осталась в памяти. Запомнился вроде бы пустяк, как мама со мной хотела войти в переднюю дверь трамвая, куда входили родители с детьми, а ей на слова – «я с ребенком», отрезали – «это не ребенок, а жеребенок». Мне было 8 лет, я был

очень худой, но высокий.

Там я пошел в школу, много времени проводил в библиотеке, где мама стала работать. Помню, я все время читал. У меня к тому же появилась подружка Муся – моя двоюродная сестра, примерно такого же возраста. С ней мы однажды совершили тяжкое преступление. Сейчас расскажу. У нас была игра. Она идет по одной стороне улицы, я по другой. И мы перекликаемся. Помню, как однажды гуляли, она увидела афишу и читает. Я ей кричу:

– Что там написано?

Она мне отвечает:

– «Ромео и… жулье».

Вот на такой прогулке мы увидели за витриной магазина слона. Он так нам понравился – мягкий добрый серый слон! Игрушек у нас не было, а очень хотелось! Мы пошли домой, взяли деньги из стола и купили этого замечательного слона. Нас, конечно, быстро разоблачили – ведь у нас денег нет и вдруг новая игрушка! После двух-трех вопросов был страшный рев. Кажется, нас нашлепали. Мы сами переживали позор очень сильно…

В Челябинске жила моя бабушка со стороны матери – Мария Григорьевна. Я был очень дружен с ней и был ее любимцем. Она прошла крестный путь в Гражданскую войну, как и одна из сестер романа Толстого «Хождение по мукам». Оставив консерваторию и свой богемный круг, она вслед за мужем дворянином, проделала путь от Петербурга до Крыма. А у нее к тому времени было уже трое детей и моя мама в том числе. По счастливой случайности дед тогда остался жив. Это был добрый, образованный, высокой культуры человек. С его юридическим и экономическим образованием он стал нужен на строительстве Челябинского тракторного завода. Там же через несколько лет, незадолго до войны, в 37-м его арестовали и в 38-м расстреляли. Бабушка сказала, что когда его уводили, я поняла – больше его никогда не увижу. Его звали Александр Александрович Нестор. Его имя в Челябинской книге памяти жертв политических репрессий…

А дальше помню отца, который приехал с фронта на побывку. Я соскучился по нему! Он для меня был кумиром. Как сейчас вижу – стоит военный, полковник медицинской службы, в орденах, от его одеколона и ремней скрипучих запах, который сводит с ума! И это мой отец! Он мог сделать любую вещь в доме, писал стихи, прекрасно рисовал – закончил 3 курса Академии художеств в Петербурге. Прошел все войны – Финскую, Халхин-Гол и Великую Отечественную. И главное – он продолжал дело своего отца, моего деда Павла Ильича, который был пионером

организации военно-санитарной помощи, эвакуации раненых с поля боя. В Военно-медицинской академии деду посвящен раздел в музее. А папа изобретал аэросани для вывоза раненых, придумал химическую грелку, что очень важно в условиях войны. Да я и не могу знать всего, что отец изобрел! После войны он будет руководить отделом медицины в Комитете изобретений (кажется, так называется).

* * *

Но вернемся в 43-й год. Мне 9 лет. Мы с отцом едем в Свердловск в международном вагоне с мягкой зеленой обивкой и играем в «балду» – кто назовет последнюю букву в слове, тот и «балда». В Челябинск папа приехал за мной. Случилось так, что мама с папой разошлись, но остались друзьями. А в Свердловске в эвакуации жила папина новая жена…

Хорошо помню, как мы с папой ходили в походы, в лес за грибами по невысоким горам. Кругом была такая красота! Однажды папа подстрелил белку, а потом мне дома сварил кулеш, это густая похлебка. Он говорил, что я уж очень был худой. В Свердловске было также голодно, как в Челябинске. Я не заметил, что папа не ел кулеш, а только спустя много лет он рассказал, что та белка была его последним трофеем. Больше он не охотился. Белка оказалась беременна…

Свердловск запомнился сильными морозами, в школе я был, мягко говоря, чужаком со всеми вытекающими. У мачехи родился сын – мой брат Юра. В мои обязанности входило брать в столовой УДП – усиленное дополнительное питание. Я носил в кастрюльках какую-то баланду, кашу, терял без конца карточки, оставлял всех без хлеба, за что меня очень сильно наказывали. Если в школе давали леденцы, я оставлял новорожденному братику, приносил мачехе – «передайте»…

А дальше – 45-й. Все ждут, вот-вот окончится война. Я уже с мамой живу в Москве. Мама была человеком театра, любила стихи и сама писала. Она работала с нашим знаменитым режиссером Борисом Покровским. Нам дали в ГИТИСе комнату в мансарде потому, что мама стала заведовать учебной частью отделения актеров музыкальной комедии. Я мог одним шагом оказаться на крыше ГИТИСа и обозревать ближайшие переулки старой Москвы. И хотя мне было 11 лет, я дружил с маминими студентами. Больше всех помню Колю Озерова – артиста МХАТа, теннисиста, известного комментатора, который вел шутливые репортажи с наших детских футбольных баталий во дворе.

Это всегда было весело и смешно…

Помню, как ночью я караулил по радио сообщение о конце войны. Мне кажется, оно было в 6 часов утра! А в 9 я уже был на Красной площади. И мы тогда все – взрослые и дети казались друг другу близкими и родными! Я помню вот это ощущение братства, совершенно неповторимое 9 мая 45-го! А на самой площади все набрасывались на военных, их качали на руках и все ждали генералов, выезжающих из Спасских ворот! И еще люди ждали, что выедет Сталин, и вот уж мы будем кричать «ура». Машины выезжали закрытые и проезжали. А народ не переставал ликовать! Все были пьяны общей радостью! Американцев помню на джипах, они по-своему радовались, бросая вверх доллары. И среди этого ликования запомнил одну седую мать, которая на коленях причитала – «вот вашим сыночкам и амнистия»…

Саша Тимофеевский, 5 лет. 1938 г.

P.S.

Так выглядела Красная площадь 9 мая 45-го глазами подростка Саши Тимофеевского. Благодаря ему я увидела другую площадь! Не «море голов» до горизонта, как в кино, а лица! Даже

тех, кто сидел в этих закрытых машинах, я тоже увидела. За внешней строгостью и деловитостью могла быть только растерянность – они слишком много знали! Знали о трагических потерях людских ресурсов и экономических, знали о предстоящем голоде – его не избежать! Хотя принять помощь других стран можно было! Если не из любви к нам, то из сострадания. Жаль, им нельзя было вести дневников! Но я знаю, что они верили в народ, который смог выстоять и победить! У них просто не было выбора, кроме как верить в него! Недолюбленный крестьянин уже рвался к плугу и весенней борозде, стаскивая в воронки тела павших и незахороненных солдат. Ценность жизни – понятие невоенное! Спастись самому и детей накормить, и еще – город, который тоже надрывался на восстановлении! Надеждой жили! Ожиданием и терпением. Пленный немец был в помощь. А как нужен был тот миллион наших военнопленных и беженцев, который сгинул в наших лагерях после передачи из лагерей немецких. Но у страны был ещё детский ресурс! И миллионы детей и подростков не сели за парты, закрыв собой осиротевший трудовой фронт. Вот потому 9 мая для меня – это День Тишины и великой Памяти, День Скорби и Сострадания! И только потом – Победы! Ликовать можно было вот тогда – 9 мая 45-го!

Лариса Ланкина, журналист

В июне 41-го мне было 6 лет, а брату Шуре – 4. Мы мало что понимали, но по состоянию взрослых уловили – произошло что-то ужасное. Да, в Сибири не слышали разрывов бомб, но эта страшная война была одна на всех.

Отца призвали в первые же дни войны. И топограф Алексей Ланкин, исходивший пешком все Прибайкалье и Маньчжурию, стал обучать будущих артиллеристов премудростям ориентирования на местности. А мама Валерия Ланкина пошла работать в госпиталь. Меня и Шурика отдали в детский сад – там кормили! Вообще-то перебои с продуктами начались задолго до начала войны. И я помню эти километровые очереди за хлебом в довоенном Иркутске, где мы вместе с мамой простаивали часами, чтобы получить «лишнюю» буханку хлеба. (По сути, очереди не прекращались до 90-х годов, и бедной маме приходилось их отстаивать не только с детьми, но и внуками.)

Однажды после такой, но уже военной очереди братик простудился и заболел воспалением легких. Врач сказал маме – если добудете сульфидин, то ребенок будет спасен. Мама пошла к начальнику госпиталя, чтобы вымолить новое эффективное лекарство. Он не дал, испугался – «расхищение» лекарства приравнивалось к измене Родине. Я хорошо помню тот мамин гнев и то отчаяние, с которым она боролась за жизнь Шурика. В итоге наш Шурик поправился и снова пошел в детский сад. А мама ушла из госпиталя и поступила на хлебозавод. Там можно было есть хлеб, но не дай Бог вынести хоть крошечный кусочек. Контроль был строже, чем сегодня на режимном предприятии. Помню, как мама, однажды обнаружив кусочек корочки в кармане спецовки, пережила настоящий ужас, а мы с Шуриком прыгали от радости – есть мы хотели всегда.

Знаю по рассказам мамы, что грузчиками на заводе работали студенты, оставшиеся в тылу, и комиссованные после тяжелых ранений. Они буквально набрасывались на хлеб и ели его горячим после печи. Их строго-настрого предупреждали, но при виде хлеба они обо всем забывали и ели, пока не начинались колики. И тут же в цеху некоторые умирали от заворота кишок. Наша мама тоже на заводе ела, чтобы нам оставлять свою порцию. Но все равно от голода спасения не было. Выйдя из-за стола, мы спрашивали: «Сегодня будем еще кушать?»

* * *

В 42-м маму перевели в Тулун, маленький городок под Иркутском. Она радовалась, потому что у местного завода было подсобное хозяйство и сотрудникам давали участки под картошку – легче прокормиться. Однако надежды на более легкую жизнь не оправдались. Картошка, конечно, облегчала голод. Но мучил холод. Зима была суровой не только на фронте. Температура в нашей комнате мало отличалась от той, что на улице. И пожалуй, война мне запомнилась больше изматывающим холодом, чем голодом. В комнате была сложена печка, но так неумело, что жар уходил прямо на улицу. Еду можно было приготовить, если только кастрюлю опустить в конфорку по самые ручки. Щели в полу мама затыкала тряпками. Вода в бочонке превратилась в лед и его разорвало. Так и стояла в комнате ледяная глыба до самой весны. Мы откалывали ее по частям.

Чтобы теплее было, я и брат спали вместе с мамой. Укрывались всеми одеялами и платками, что у нас были. А Шурика, как самого маленького, еще заворачивали в единственную телогрейку.

Память о военном холоде навсегда осталась во мне и моих опухших суставах. Домашнее хозяйство в отсутствие мамы лежало на мне. Не забуду ни чистку замерзшей картошки, ни ледяную воду…

Спустя много лет, потеряв первого ребенка, я услышала от врача, что «военные девочки» обычно плохо рожают. Такое вот эхо войны!

Особое место в воспоминаниях занимают военные дрова. Их привозили от завода. Но что это были за дрова! Чурбаны в три обхвата. У топора, засаженного в древесину, выступала вода. Шурик никак не мог понять, откуда же она берется. А мама говорила – это замерзшее дерево плачет.

Бывало, что она и сама плакала, сидя у такого чурбана, – ее женских сил не хватало, чтобы топор из него вытащить. И мы с Шуриком, помню, тоже стоим и плачем, маленькие и беспомощные. Топить мерзлыми дровами было невозможно – они не хотели гореть! И по ночам слышался треск по городку – это женщины выламывали для растопки доски из заборов. И мама с подругой Варей тоже ходила на этот промысел…

Я помню, как мы, ребятня, в поисках еды обменивались своим детским опытом, какую траву можно съесть. Самые популярные были «калачики» – это серединки цветков низкорослой лесной травы. Мальчишки постарше рыскали по полям и кое-что находили. Помню такую картину. Сидит на заборе Генка – местное «божество», в руках турнепс – кормовой плод для скота,

отдаленно напоминающий по вкусу репу. Вокруг мы, младшие просители с голодными глазами. Генка нарезает турнепс пластами и выбирает тех, кто ему больше нравится или кто раньше услужил. Этот подарок, сочный и хрустящий, делал каждого из нас счастливым, но на всех этого счастья все равно не хватало.

О молоке военные дети только мечтали. Коровы были редкостью. Однажды чья-то буренка, как нарочно, забрела под окно нашей комнаты. Шурик схватил кружку и побежал к корове. Напрасно я умоляла не ходить, даже плакала. И вот когда Шурик оказался рядом с коровой, она лягнула его так, что он отлетел к забору. По счастью, обошлось синяками и шрамом…

Потом маме дали две комнатки в «доме стахановцев», который был простым деревянным бараком. Жили в нем очень разные люди. Через стенку обитала семья сосланных из Прибалтики по фамилии Пикус – муж, жена и две девочки. Ян Пикус, большой, красивый, интеллигентного вида человек, работал грузчиком. Отношения у нас были добрые.

Их девочки были на равных с другими детьми, и мы играли все вместе. Ясно, что нежных чувств к нам, сибирякам, сосланные не питали, но цель у нас была общая – выжить!

(Есть под Иркутском село Оса. Оно было заселено прибалтами. Жили они там примерно до 60-х годов, пока им не разрешили вернуться. Я помню этих ребят по университету. Девочкам нравилось, как красиво они умеют ухаживать. Никакой дискриминации, по-моему, они не испытывали. И уж к слову, как бы сегодня ни возмущались прибалтами, нельзя забывать, что живо еще поколение, пережившее сибирскую ссылку!)

В самом конце войны стали приходить небольшие посылки из Германии с вещами побежденных. Наши женщины, за войну совершенно обносившиеся, радовались заграничным вещичкам. Помню, кто-то маму утешил: «Ваш тоже пришлет!» Мама ответила: «Нет, мой не пришлет!»

Потом уже, когда папа вернулся, спросила:

– Не мог мне хоть часы привезти?

– А ты бы стала носить часы с убитого? – ответил отец.

С ним мы и вернулись в родной Иркутск. Там снова тесная коммуналка и очереди за продуктами, но это была уже мирная жизнь!

Лариса Ланкина с братом

Герта Портнягина, художник

Я первоклассница 41-го года. В мои самые первые школьные каникулы ворвалось слово – «война», а следом еще одно – «эшелон». Все говорили как-то особенно – «эшелоны идут». Железная дорога была недалеко от нашего дома в Чите. И я видела из своих окон непрерывно стучащие составы. Только раньше их называли поездами. Любимый брат Петруша учил меня считать до двадцати по своему методу, на мимо бегущих вагонах. Не отходя от окна, на своем добровольном посту я все считала и докладывала старшим. Мы тогда не знали, что мимо нас с японской границы везут уже обстрелянных солдат, что с востока страны на запад срочно перебрасывают воинские части. А взрослые вокруг все говорят и говорят об эшелонах, да японцах, и каком-то непонятном немце, который зачем-то «прет»…

Сначала ушел отец, пополнив одну из сибирских дивизий. Потом – старшая сестра Аня, вчерашняя десятиклассница, когда объявили мобилизацию девушек, достигших 18 лет. Краткосрочные курсы санинструкторов – и 1-й Украинский фронт. А за ней ушел и любимый Петруша, чей седьмой класс вместе с другими старшеклассниками поселили в ФЗУ при одном из эвакуированных заводов.

Дом опустел. Остались я с мамой да мой дружок Трезорка, которого Петруша принес мне в подарок к окончанию 1-го класса. Рыжий щенок стал любимцем всей округи, спал на лестнице, ел на общей кухне. Только дружба эта в один момент закончилась. Для меня это был первый удар. Вышел приказ – «в целях экономии средств, и борьбы с голодом» всех собак изъять и уничтожить. Я, не в силах пережить расставание, ушла из дома, куда глаза глядят, чтобы не видеть тех, кто будет отнимать моего друга. Вволю нарыдавшись, я ночью вернулась домой. Надежды на чудо не осталось – Трезорка ее не встретил. Мама сказала, что была «спецкоманда», которая его увезла.

Второй удар был таким же неожиданным. Как-то зимой, вернувшись из школы, я открыла дверь и обмерла. Моя мамочка, моя крепость и защита, беспомощно билась на полу и повторяла одно слово – «убили!». Она била ладонью об пол и все повторяла «убили, убили!». Я чуть не наступила на раскрытый «треугольник» и все сразу поняла. Наверное, от испуга я накрыла своим портфелем это страшное письмо… Отпечатки разбитой в кровь маминой ладони, так и остались в памяти.

До сих пор я не могу рассказывать этот эпизод без слез и сердечной боли. Нет, время плохо лечит войну.

Так зимой 41-го наша семья осиротела, война отняла у нас отца. Неся немыслимые потери, сибиряки спасали Москву. Многие из них, как мой отец Алексей Портнягин, так никогда ее и не увидели.

* * *

А самые светлые воспоминания военного времени – это как мы, малышня, вместе со старшими классами выезжали на картошку. И в каникулы, и каждую осень до глубоких холодов. Работали мы, как взрослые, весь световой день. У нас были свои рабочие нормы. Ехали на открытых грузовиках в любую погоду и пели все песни подряд. Спали не раздеваясь на полу, на соломе. Но там, в колхозе, мы были сыты, потому что, кроме картошки, был настоящий хлеб! Пусть немного, но хлеб замечательный! И как же он пах этот хлеб! Учителя говорили нам: вы работаете для фронта, бойцам нужна ваша картошка.

А в городе картошки не было. И все время хотелось есть. Раз-другой маме удавалось у охотников, которые тоже все сдавали для фронта, заполучить «головизну». Мама варила ее в большущем ведре, и по всему дому разносился запах настоящей еды, но это было так редко.

* * *

Помню весной, когда я окончила второй класс, с фронта вернулся наш сосед Яков Моисеевич, парикмахер. Мама называла его везунчиком, хотя после ранения он стал сильно припадать на одну ногу. Но все так же любил музыку. И ставя пластинку с какой-нибудь опереткой, подпевал и выкидывал такие коленца, что мне было страшно – вот-вот упадет! Было, даже падал, но все кончалось благополучным реверансом, и наступал миг всеобщего счастья. Особенно я помню его саквояж. В этой самой прекрасной на свете сумке среди железных коробочек и парикмахерских инструментов лежали маленькие кусочки хлеба – щедрые дары мастеру. Дядя Яша работал по госпиталям, стриг-брил раненых. А когда вечером возвращался, ставил передо мной свою волшебную сумку. Потом звучала команда – «освободить инструмент», которую я немедленно исполняла.

* * *

Весной 45-го, после московского госпиталя вернулась сестра Аня – с двумя тяжелыми ранениями, орденом Красной Звезды и двумя медалями «За отвагу» Пулевое ранение в бедро мучило ее всю оставшуюся жизнь. В результате хромота. Семейного счастья Ане уже испытать не довелось.

В том же 45-м призвали в армию брата Петрушу которому исполнилось 18 лет. Отправили на японский фронт, но ему повезло – та война была короткой и пулю для него просто не успели отлить…

* * *

В закоулках моей детской памяти немало эпизодов, и вот еще один. Примерно середина войны. У входа на базар появилась симпатичная девушка с гитарой – еще одна искалеченная войной женская судьба. Сидела она почти на земле, но, кажется, ноги были в порядке. Беретка на бочок по довоенной моде. Поет о несчастной любви. Никогда больше этой песни я не слышала. Возможно, это была история самой девушки. Я часто прибегала на этот пятачок и слушала не в силах отвести глаз от искалеченной правой руки, которой девушка себе аккомпанировала. Война шла не первый год, и калек появлялось все больше, особенно безногих. На простеньких тележках ростом с меня они так бесстрашно сновали под ногами у базарной толпы. Но эта девушка была совсем другой! К запястью, нет – к обрубку правой руки была чудом приделана ложка, заменявшая ей кисть. Понять, как ей удается управлять струнами, было невозможно. Эта ее тоска так проникла в мою душу, что застряла в ней на 60 с лишним лет. Вот она военная «лавстори».

Мой милый друг, что может дать рабыне
Чугунная немецкая земля,
Быть может, на какой-нибудь осине
Уже готова для меня петля.
Быть может, мне валяться под откосом
С пробитой грудью у чужих дорог.
И по моим, по шелковистым косам
Пройдет немецкий кованый сапог…

P.S.

Финал этой песни девочка Гера – она же Герта Алексеевна Портнягина – не запомнила. Ей, ребенку, было не понять – почему девушка просит «милого друга» ее не искать. Но мелодию она повторила так легко, будто слышала ее недавно. А возможно, так и есть! Война для ее детей всегда близко. Может быть, не далее чем вчера.

Послесловие от автора

В самые первые дни войны в нашей семье умер мой трехлетний братик – я его знаю только по единственной фотографии. Знаю, что он заболел и очень нуждался в медицинской помощи. Но суматоха первых дней решила его судьбу. Да и детская медицина уже стояла в военном строю…

Отца-учителя призвали в первые же дни войны. Осталась мама со мной на руках – вот и вся наша семья. И когда Валерий Золотухин рассказывал, как, уходя в поле, мама привязывала его за ногу к крылечку для его же безопасности, я тоже вспомнила, как моя мама, учительница, решала ту же проблему. Она приносила меня утром в школу и оставляла под замком в школьной сторожке – там было не так холодно. А в перемены между уроками прибегала ко мне. Но однажды, открыв дверь, она увидела, как ее дочка, чудом взгромоздив детский стульчик на табуретку, забралась на него, чтобы дотянуться до настенных часов. Там, в часах, мама приберегала кусочки хлеба от мышей, если эти кусочки были…

После этого циркового номера у меня появились новые «ясли» – последняя парта в мамином классе. Я должна была сидеть тихо и молчать. Там я рисовала, слушала урок, там же засыпала. В парте у меня было большое хозяйство: карандаши, альбом, книжки с картинками и маленькая подушечка, которая называлась «думка». В перемену меня окружали девочки, таскали на руках. Их заставляли бегать по коридору, чтобы согреться, и мы бегали вместе. Иногда меня из этой кутерьмы выхватывала «мама Ира». Она была школьным завхозом и к тому же занималась хлебными пайками, которые полагались всем ученикам, то есть резала буханки хлеба на равные кусочки. И бывало так, что кто-то не приходил в школу, значит, оставалась его порция хлеба. Вот тогда Ира заводила меня в туалет и, прижав в угол, чтобы никто не видел, скармливала мне бесценный кусочек. Загадкой было для всех учителей – почему я называю Ирину «мамой Ирой», тем более что учить меня этому никто не мог. Это мое детское сознание подсказывало – если кормит, значит – мама.

В памяти оживает один эпизод – первое детское потрясение, когда меня забыли на ночь в школе. Неизвестно, сколько продолжался мой сон на скамейке последней парты. Только проснулась я в пустой и темной школе. И та ночь ужаса, что я осталась навеки одна, стала моим первым боевым крещением. Когда утром открыли школу и обнаружили меня под дверью,

глаза мои, опухшие от слез, ничего не видели, но, как говорят, мне это совершенно не мешало радоваться жизни – ведь меня нашли!

Оказалось все по военному времени просто. Мама и раньше падала в голодные обмороки. На этот раз все было серьезнее – ее увезли в больницу с рассеченным о парту виском. Спустя годы я узнала (могла бы узнать больше), что офицерский аттестат отца растворился где-то по дороге, так и не дойдя до нас. После больницы маме выдали талон в одну из столовых, и она получала порцию супа, который называли баландой. И когда школу – старших детей и учителей – посылали на лесозаготовки, я знаю, что маму ставили на самый легкий участок работы – сучья рубить…

Среди разных печалей упомяну еще одну, типичную для военного времени, – когда мамина сестра Варя пошла на базар обменять на еду свою юбку, у нее выкрали все наши хлебные карточки, которые выдавались на месяц. А потом, когда я тяжко заболела (по мнению врача – безнадежно) и мама с Варей по очереди дежурили у моей кроватки, Варя только об одном и мечтала – «сейчас бы открылась дверь и протянулась рука с кирпичиком хлеба». Она повторяла это всю войну и потом очень долго вспоминала.

Да, дети войны голодали. Но как же голодали наши матери, отдавая свои крохи нам, чтобы мы обязательно выжили!

Сегодня в моем доме на книжной полке стоит фотография 43-го года. На ней 27 старичков лет двенадцати. И среди них красивая молодая учительница. Не счесть похожих фотографий в семейных альбомах по всей России! Мне эта фотография очень дорога. Во-первых, потому, что молодая учительница – это моя мама, Александра Федоровна Машир.

Во-вторых, если хорошо присмотреться, то можно увидеть на руках у одной из учениц во втором ряду крошечную девочку с бантиком на макушке – это я. И это моя первая в жизни фотография…

Ляля, 1943 г.

Послесловие

Зачем просила обернуться на свое детство? Зачем искала вас? Таких разных! Чтобы сказать! Только сказать! Что я еще могу?! Сначала мне казалось несправедливым замалчивание темы детей войны. И это в стране, по которой война прошлась будто катком! Впрочем, не будто, а – катком! Но чем дальше я погружалась в материал, чем больше я слушала вас – вашу речь и ваши паузы, видела ваши глаза, которые то плакали, то смеялись, тем больше понимала, что эта бездна народной памяти больше учебников! Наша память объединяет нас с родными и ушедшими, жизнь которых неразрывна с нашей историей. Так было и так будет продолжаться!

Живые свидетели истории, ваша память бесценна!

Дневник детской памяти собирала Лариса Машир

Лариса Машир – журналист, лауреат премий Медиа-Союза. Окончила историко-филологический факультет Иркутского государственного университета. Студенткой была принята в Союз журналистов СССР, сотрудничая с «Восточно-Сибирской правдой». Там же осталась работать после окончания университета. Через два года увлеклась документальным кино и перешла работать на Иркутское телевидение, продолжая ездить по Сибири. Еще через два года, в период бурного развития телевидения, начала работать на Центральном телевидении. Была автором и редактором Главной редакции музыкальных программ. В 1990-е гг. пришла на «Радио России» в качестве автора и ведущей, продолжая сотрудничать с телевидением. Ее радиоочерки вошли в книжку-сборник лучших передач радиопроекта «Золотой запас России». Автор очерков и рассказов в периодике. Сотрудничает с «Литературной газетой», журналом «Персона», детскими и другими изданиями.

notes

Сноски

1

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г.

2

«От всей души» – одна из самых популярных передач Центрального телевидения 70–80-х годов. Валентине Леонтьевой – постоянной ведущей этой передачи – в 1975 году была присуждена Государственная премия СССР.

3

«У меня есть запись, сколько погибло, по словам Петрова. Петров – это специалист-онколог, профессор, он входил в санитарную комиссию по Ленинграду. И в августе месяце 1942 года официальное число погибших (т. е. задокументировано) – было 1 млн 200 тысяч человек (…) в Ленинград сбежалось огромное число людей из пригородов, из Новгорода, из Пскова, из Гдова, из Луги, и так далее. (…) Они умирали в первую очередь, и у них не было документов, они не были зарегистрированы. И день, и ночь их сжигали – там, где был кирпичный завод и где сейчас находится парк Победы».

«Блокада Ленинграда: свидетельства очевидца». Из книги «Д. С. Лихачев. Избранное. Мысли о жизни, истории, культуре». РФК. Москва. 2006. С. 39–40.

4

«Дорога жизни» была проложена по льду Ладожского озера и во время блокады Ленинграда связывала город со страной. Валентина Леонтьева с мамой были эвакуированы по этой «Дороге жизни».

5

15 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны СССР принял решение об эвакуации Москвы. А 20 октября ГКО ввел в Москве и прилегающих районах осадное положение.

6

Из открытых архивов – Докладная записка военного прокурора Ленинграда А. И. Панфиленко секретарю Ленинградского обкома ВКП(б) А. А. Кузнецову от 21 февраля 1942 года начиналась так: «В условиях особой обстановки Ленинграда возник новый вид преступлений…»

7

Зофья Налковская (1884–1954) – польская писательница, публицист и драматург. Известные книги: «Граница», «Медальоны», «Дневники времени войны». Участвовала в работе Главной комиссии по изучению нацистских преступлений на территории Польши.

8

Варшавское восстание 1944 года против немецких оккупантов продолжалось 63 дня (1 августа – 2 октября). Военных и политических целей восстание не достигло, но оно стало символом мужества поляков в борьбе за независимость. Кроме памятника героям восстания, в центре Варшавы установлен памятник юному повстанцу – малыш с автоматом в большой каске и больших сапогах.

9

«Большая Берта» – тяжелая самоходная многотонная пушка, самая крупная из всех самоходных артиллерийских установок. Но она использовалась в Первую мировую войну, а в 1944-м на подавлении Варшавского восстания применялся ее аналог – «Зиу». Вермахт имел на вооружении в период ВОВ 7 таких мортир. Одна из них – «Адам» – била по Брестской крепости, две других – по Севастополю. У остальных были технические проблемы.

10

Аушвиц, он же – Биркенау, это система лагерей площадью 40 га. Имя старинного польского города Освенцим стало известно как название самого большого концентрационного лагеря смерти. Первыми строителями-узниками в 1940-м стали поляки, захваченные в облавах. Перед наступлением Красной Армии документация лагеря была уничтожена. Предполагается, что в Аушвице погибло около 4 млн человек разных национальностей. Сегодня Освенцим сохранен как памятник в назидание потомкам.

11

Новикова Наталья Анатольевна из Риги. Приехала сюда после окончания МГУ как молодой специалист.

12

По адресу: Денежный переулок, дом 12, кв. № 1, сегодня находится мемориальная квартира Евгения Вахтангова. После смерти Евгения Багратионовича в 22-м году – он умер в 39 лет – театру присвоили его имя.

13

Владимир Балихин – любимый ученик Вахтангова, «человек театра», артист и педагог. Известная роль в кино – Карандышев, «Бесприданница», (1936 г.)

14

Николай Горчаков – ученик Вахтангова и Станиславского, театральный режиссер и педагог.

15

Цецилия Мансурова – народная артистка СССР первая принцесса Турандот из знаменитого спектакля, поставленного Евгением Вахтанговым.

16

Андрей Абрикосов – народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР.

17

Коминтерн – с 1919 по 1943 г. – международная организация, объединившая компартии различных стран. Идея создания принадлежала В. И. Ленину. (БСЭ.)

18

КИМ – Коммунистический Интернационал Молодежи – международная молодежная организация являлась секцией Коминтерна и действовала под его руководством. Идея создания принадлежала В. И. Ленину. (БСЭ.)

19

С 15 сентября 1941 г. нормы хлеба уменьшились первый раз. С 20 ноября по 25 декабря 41-го были самые низкие нормы – служащие, дети и иждивенцы получали 125 граммов суррогатного хлеба. Смертность в Ленинграде стала массовой.